

ДМИТРИЙ ГЕРАСИМОВ

ЛИДЕР
TV
РЕЙТИНГА!

КРЕСТ В КРУГЕ

Дмитрий Герасимов

Крест в круге

«Издательство АСТ»

2010

Герасимов Д.

Крест в круге / Д. Герасимов — «Издательство АСТ», 2010

Сага о жизни трех поколений, судьбы которых неведомым мистическим образом связаны с известным московским отелем и странной пентаграммой в виде креста в замкнутом круге. «Лихие» девяностые... Молодой историк Вадим Григорьев, временно работающий охранником в отеле, даже не подозревает, что и его трудоустройство и последовавшие за этим странные, мистические события – встреча с таинственной старухой, разгадка зловещей пентаграммы на старинной вазе, убийство молодого мужчины из 222 номера – давно предсказаны его отцом в незаконченном романе «Отель N». На пути Вадима к раскрытию тайн – череда сбывшихся пророчеств, любовь и смерть, странное завещание и целый клубок хитросплетений и мистических катаклизмов, берущих свое начало в далеком 1913 году...

© Герасимов Д., 2010

© Издательство АСТ, 2010

Содержание

Пролог	6
Часть первая	19
Глава 1	19
Глава 2	22
Глава 3	31
Глава 4	35
Глава 5	43
Глава 6	48
Глава 7	56
Конец ознакомительного фрагмента.	66

Дмитрий Герасимов

Крест в круге

© Герасимов Д.Г., 2010

© ООО «Издательство Астрель», 2010

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

*Нет креста за спиной,
Без него мне
еще тяжелей.*

Роберт Рождественский

*Господи, у меня, у которого
нет покаяния, молитвы, веры, любви,
нет ничего, не отними креста!*

Блаженный Иоанн

Пролог

20 сентября 1997 г.

Москва, отель «Националь»

Старуха сидела, выпрямив спину, на пуфе перед зеркалом в своем любимом 215-м номере. Ее безобразное, высохшее лицо было неподвижно, и лишь черная кривая щель рта чуть вздрагивала в такт тяжелому, прерывистому дыханию. Она положила перед собой пожелтевшие руки, и тонкий золотой зажим для галстука сверкнул на её ладони, отбросив зловещий блик в немигающие бесцветные старухины глаза.

На мгновение ей показалось, что зеркальная бездна дрогнула и четко отразила молодого человека с темными волнистыми волосами, в зеленом кителе с синими петлицами. Он смотрел на старуху, и в его серых глазах тоже дрожал печальный, тускнеющий свет. То ли это был золотой отблеск все того же зажима для галстука, то ли слабый отсвет догорающих в эту минуту полувековых мытарств, тоски и отчаяния последних десятилетий. Он не мигая смотрел на старуху из недосягаемой зеркальной глубины и словно ждал ответа.

– Скоро, Вадим... – едва слышно прохрипела она. – Уже скоро, родной...

В эту самую минуту Вадим Григорьев, который находился на первом этаже отеля, вздрогнул от ледящего предчувствия, словно каким-то непостижимым образом услышал шепот странной старухи из 215-го номера. А может, он просто испугался человека, вошедшего в «Националь» через парадный вход. Почему Вадим обратил на него внимание? Что показалось ему странным в этом невысоком парне с огромным букетом цветов? Ничего странного не было ни в парне, ни в цветах. Такие ежедневно десятками проходят через тяжелые центральные двери отеля. И букет – самый обыкновенный. Скорее даже – скромный букет. Эти стены повидали охапки самых свежих, самых восхитительных, самых дорогих цветов. В любое время года рассыльные, курьеры, белл-бой¹ доставляли в номера еще три часа назад срезанные где-нибудь в Голландии или Болгарии тюльпаны, розы, хризантемы и лилии. Цветами здесь трудно кого-нибудь удивить.

И молодой человек, юрко прошмыгнувший через тамбур центрального входа, был как близнец похож на всех служащих бесчисленной армии порученцев какой-нибудь серенькой коммерческой конторки, спешащей засвидетельствовать свое почтение важному и – главное – нужному гостю столицы.

Парень был одет в длинный светло-зеленый плащ и держал букет прямо перед собой – бережно и значительно.

Почему Вадим обратил на курьера внимание? Никто даже не взглянул на этого парня. Швейцар машинально и безо всякого усердия распахнул перед ним дверь и продолжил флегматично всматриваться в осенний сумрак Моховой. Белл-бой скользнул взглядом по букету и не шевельнулся за своей деревянной конторкой, обитой коричневым бархатом. Игорь Плешаков даже не повернул в его сторону голову. Вадиму же стоило только взглянуть на посыльного в зеленом плаще, как сердце его стукнуло гулко и тревожно.

Вадим Григорьев – сотрудник службы безопасности отеля «Националь» – дежурил на «одиннадцатом» посту. Так называлась площадка между лифтами в вестибюле отеля у самого входа. Шумный вечер в «Национале» пах коктейлем из «шанелей» и «арамисов». Бар «Александровский» потрескивал зажженными свечками в крохотных чашечках и отражался десятками огоньков в стеклянном хрупком потолке. Сюда шествовали по-вечернему неторопли-

вые гости, выплывшие из полумрака улицы, небрежно и рассеянно кивающие невозмутимому швейцару. Они вразвалочку проходили площадку между лифтами, не обращая внимания на сотрудника в синем костюме с рацией в руке, и располагались за столиками. Пока степенные и гордые своей вечерней элегантностью дамы поправляли подушечки на стульях, их кавалеры небрежно переговаривались с кем-то по мобильным телефонам, снисходительно, вполглаза просматривая винные карты.

Проживающие в самом отеле спускались в кафе на лифте, стыдливо прикрытом мраморными колоннами заведения, и, выйдя из дверей, сразу оказывались в центре гудящего бара. На этом же лифте в разгар томной, наполненной музыкой и вином ночи некоторые постояльцы увозили из бара девочек к себе в номера. Дорогие проститутки – «палочки-выручалочки» ночной смены службы безопасности отеля, ее «хлеб и надежда», – по одной прибывали в «Националь», кокетливо снимали плащики и устраивались поудобнее за пустующими столиками. Рабочая ночь только начиналась. Опытные официанты, уже не спрашивая, приносили им коктейль из сока и вермута в высоких бокалах с трубочкой, и девочки посасывали его медленно и томно, время от времени обводя застенчивыми глазками пространство «Александровского».

«Старшим по девочкам» в смене Вадима считался Игорь Плешаков – развязный самоуверенный парень с вечно мокрыми губами и скверной манерой ежеминутно вытирать их указательным пальцем. Обычно он заступал на «одиннадцатый» пост в 23.00 и оставался там до самого утра. Ротация сотрудников службы безопасности с поста на пост осуществлялась каждые два часа, но по ночам Игоря Плешакова это правило не касалось. Он бдел, с тревогой и нетерпением ожидая, когда «снимется» очередная проститутка, чтобы ее место за столиком тут же заняла «резервная» девочка. Под утро Плешаков заботливо собирал уставших барышень за колонной, возле витрины с русскими сувенирами, и скрупулезно высчитывал причитающуюся с каждой мзду. Собранные деньги потом делились в неравных пропорциях между всеми сотрудниками службы безопасности ночной смены.

Игорь заступил на «одиннадцатый» пост в 22.00, несмотря на то, что там находился Вадим.

– Ты не рано? – спросил он Плешакова. – Мне еще час здесь стоять...

Но тот проигнорировал вопрос, демонстративно повернулся к Вадиму спиной и щелкнул кнопкой рации:

– Десятый, ответь одиннадцатому...

Через мгновение рация лениво хрюкнула:

– Слушаю тебя, одиннадцатый.

– Я заступил на центральный.

– Хорошо. Конец связи.

Оператор смены Коля Ефремов – позывной «десятый» – все дежурство находился в операторской перед многочисленными мониторами, на которых то и дело менялись картинки коридоров, дверей, подвалов, лестниц – всех многочисленных закоулков отеля, где были установлены камеры наблюдения. Ефремов координировал действия сотрудников смены, перемещавшихся каждые два часа с поста на пост, наблюдал за визитерами и гостями отеля, непрерывно щелкая клавишами пульта. Он первым должен был отреагировать на то, что возле центрального входа дежурят сразу двое. Он должен был посмотреть на часы и заметить укоризненно:

– Игорь, у тебя еще час до замены Григорьева...

Или:

– Вадим, сегодня Плешаков заступает на центральный раньше обычного, поэтому переходи на «двадцать первый» пост...

Но Ефремов промолчал.

Вадим проглотил это унижительное небрежение. Он давно заметил, что вся смена словно объявила ему бойкот. Его демонстративно не замечали во время дежурства, а по утрам, когда Плешаков делил «девичью» денежку, Вадиму не доставалось ни копейки. В нем бурлила обида, но гордость не позволяла ему показать, что он уязвлен. И он молчал.

Нет ничего горше и страшнее, чем бойкот коллектива. Чувствовать себя белой вороной и не испытывать от этого хотя бы неудобства под силу только очень мужественным людям. Тот, кому доводилось носить клеймо аутсайдера, неудачника, знает, что это за ноша.

Вадим ума не мог приложить, чем он провинился перед сослуживцами. Он перебирал в памяти события, участником которых был, вспоминал слова коллег и их реакции на те или иные происшествия, – и не мог понять, почему впал в немилость. Несколько раз он пытался поговорить об этом со старшим смены Жорой Зевковичем. Но тот виновато прятал глаза и поспешно отвлекался на другие темы.

«Может быть, они знают, что я сексот? Может быть, произошла утечка? Глупцы, если бы только они могли догадываться, что всю свою жизнь я работаю на «органы»! Всю свою длинную, бесконечную жизнь я связан со всемогущей и таинственной «конторой»! Если бы они только могли знать, сколько судеб я спас от разрушений и увечий, скольких прекрасных, талантливых, честных людей я вывел из-под удара!..»

Молодой человек с цветами скрылся в зеркальном чреве лифта, а Плешаков даже не шевельнулся. Он озабоченно вглядывался в музыкальный полумрак «Александровского», высчитывая, какое количество девочек может остаться без работы в эту ночь.

Вадим поколебался, но решил, что обида не должна мешать работе, и щелкнул кнопкой рации:

– Десятый, посмотри, куда направился парень в зеленом плаще с букетом цветов... – Секунду он помедлил, всматриваясь в цифровое табло, и уточнил: – На четвертом этаже...

Оператор с полминуты молчал. Потом зашуршал укоризненно:

– Одиннадцатый, а ты не поинтересовался, кому повез цветы тип в зеленом плаще?

Вадим хмыкнул.

«Никто, кроме меня, не обратил на него внимания. А теперь Коля будет изображать из себя бдительного оператора!»

– Разумеется, не спросил, – ответил он. – А ты для чего сидишь перед своими телевизорами?

Плешаков недовольно оторвался от созерцания вечернего кафе.

– Какой еще тип с цветами? – буркнул он в рацию.

– По четвертому этажу рассказывает, – ответил Ефремов. – Будь внимательнее, Игорь, в следующий раз.

– А ты для чего сидишь перед телевизорами? – огрызнулся Плешаков.

Эфир какое-то время безжизненно молчал. Наконец Ефремов сообщил раздраженно:

– Я его не вижу... Он в секторе «трех двоек».

Вадим вздохнул. Он догадался, кому адресован букет. Курьер доставил цветы в «три двойки»! А в 222-м номере проживает – она! Сколько раз Вадим провожал взглядом эту восхитительную молодую женщину, когда она выходила из лифта, поправляя челку или одергивая рукава кофточки. Сколько раз он любовался ее стройной миниатюрной фигуркой, когда она беседовала о чем-то с менеджером за стойкой ресепшн или прихорашивалась перед тусклой витриной с сувенирами. Вадим стоял, замороженный, жадно впитывая волшебные секунды, в течение которых закрывающиеся двери лифта еще позволяли видеть ее ослепительное отражение во всех зеркалах тесной кабинки. Лифт уносил видение на четвертый этаж, а Вадим долго стоял перед сомкнувшимися стальными челюстями, поглотившими ангела.

Через пятнадцать минут парень в плаще вышел из лифта, бросил равнодушный взгляд на оживший «Александровский» бар, юркнул за дверь и утонул в осеннем вечере.

Вадим посмотрел на часы. Ему оставалось находиться у центрального входа еще полчаса.

Она появилась в холле в тот самый момент, когда Вадим щелкнул кнопкой рации, чтобы предупредить старшего смены, что время истекло и он покидает «одиннадцатый» пост. Григорьев помедлил с докладом, в растерянности наблюдая, как женщина вошла в отель и отправилась к стойке ресепшн, потом вернулась к бюро и поручила белл-бою принести ее вещи из машины. Тот опрометью бросился на улицу и через минуту уже втаскивал в лифт желтый тугой саквояж и большую спортивную сумку. Женщина терпеливо ожидала на площадке, с любопытством поглядывая на постанывающий в вечернем оживлении «Александровский», а потом вошла в лифт вслед за белл-боем.

«Интересно, а кому же молодой человек в плаще вручил цветы, если ее все это время не было в номере?»

Вадим покинул «одиннадцатый» пост и направился в операторскую. Это была небольшая комната на первом этаже отеля, расположенная в самом конце длинного и узкого служебного коридора, которым, кроме сотрудников безопасности «Националя», пользовались еще инкассаторы банка, когда забирали выручку валютной кассы, и несколько девушек – служащих колл-сервиса. В коридор вела отдельная дверь из служебного тамбура, отгороженного от зала ресепшн тяжелой шторой. В самом тамбуре, в непосредственной близости от шторы, располагалась еще одна дверь, ведущая в помещение с депозитными сейфами.

Сама операторская походила на склеп или на таинственный засекреченный бункер. В тесной и душной комнате без окон вдоль Z-образной стены выстроились длинные, заваленные бумагами и журналами столы. Прямо напротив входа на узкой подставке жались друг к другу два компьютера, пароли от которых были известны лишь начальнику службы безопасности и его заместителю. Рядом, над сваленными в кучу папками, возвышался микрофон для громкой связи. В обычное время им никто не пользовался, но раз в полгода его непременно проверяли на работоспособность. В такие дни по этажам отеля разносились монотонные подвывания на неуверенном русском и отвратительном английском: «Раз... два... три... Дамы и господа! Говорит служба безопасности отеля «Националь»! Просьба соблюдать спокойствие и оставаться на своих местах. Во избежание несчастных случаев убедительно просим вас не поддаваться панике и иным провокациям. В настоящий момент нами осуществляется проверка громкой связи. Приносим извинения за доставленные неудобства. Спасибо за внимание». Произнес эту белиберду, сотрудник обычно щелкал пальцем по микрофону, окончательно убеждаясь в его безотказности.

В левой части комнаты, в самом углу находилось операторское место. Оператор сидел на вращающемся кресле, чтобы иметь возможность наблюдать за мониторами, висящими на стене. Экран каждого монитора был поделен на множество квадратиков – по числу камер наблюдения – и непрерывно демонстрировал картинки меняющейся жизни отеля.

За соседним столом с тремя телефонами, рядом с оператором, обитал старший смены. За двенадцать часов дежурства он редко покидал операторскую. Время от времени он делал немногословные пометки в дежурном журнале обо всех, даже самых мелких, происшествиях и результатах поэтажного обхода отеля:

22 ч. 15 м. Возле номера 312 обнаружен неубранный поднос с грязной посудой. Сообщили в «рум-сервис».

22 ч. 38 м. Осуществлен поэтажный обход сотрудником свободной смены. Замечаний нет.

22 ч. 50 м. На служебном входе метрдотель ресторана «Славянский» Лупанов В.А. отказался оставить в камере хранения или предъявить к осмотру свою спортивную сумку. Сумка досмотрена сотрудником СБ Рудаковым В.В. Замечаний нет.

Все остальное убранство операторской комнаты состояло из пыльного стеклянного шкафчика, в котором лениво шуршали магнитной пленкой два пишущих плеера, боксерской груши, застывшей под потолком в углу, и трех стульев, обитых липким дерматином. В самом дальнем конце помещения, за веселым плакатом с изображением Ван-Дамма, находилась еще одна дверь – с металлической решеткой. Она скрывала душную каморку, почему-то именованную «оружейной комнатой». На деле, из всех видов оружия в ней находились только стул, тумбочка и шершавый ящик, в который еще до официального открытия отеля высыпали дюжину наручников и десяток резиновых палок. Комнату открывали нечасто. Иногда ночью в нее помещали непослушных и несговорчивых «залетных» проституток, вздумавших промышлять на чужой территории и отказывавшихся платить дань.

Главным неудобством операторской была металлическая лестница, ввинченная в пол, о которую непременно ударялся всякий, кто по забывчивости совершал стремительные передвижения по комнате. Лестница вела на антрессоль – тесное и темное помещение, на манер кладовки, где хранились зимние куртки, шапки и варежки.

Вадим переступил порог операторской в тот самый момент, когда на табло тревоги вспыхнула лампочка с номером 222. Пульт хрюкнул, и комната наполнилась жалобным писком. Жора Зевкович поморщился и, оторвавшись от детектива в пестрой обложке, разложенного прямо поверх дежурного журнала, страдальчески вздохнул:

– Коля, убери этот звук! На нервы действует.

Ефремов щелкнул клавишей и уставился на табло.

– Двести двадцать второй... Позвонишь?

– Позвони сам, – ответил Зевкович и опять углубился в чтение.

Вадим застыл на пороге, вновь охваченный странным тревожным предчувствием.

Лампочки, вспыхивающие с противным писком на табло, никого давно не удивляли и не тревожили. Такие сигналы поступали десять – пятнадцать раз за смену. И почти всегда это означало одно: гость ошибся кнопкой. Дело в том, что по странному замыслу планировщиков апартаментов клавиша сигнала тревоги была не только как две капли воды похожа на выключатель света, но и располагалась от него на расстоянии ладони. Еще один способ позвать на помощь был не менее странным. В ванной комнате, между шторкой душа и полотенцесушителем, тоскливо болтался красный шнурок, за который, естественно, дергали все, кто, принимая ванну, пытался дотянуться до полотенца. Таким образом, тревожная светомузыка в операторской была явлением привычным и ни к чему не обязывающим. Сотрудник смены обычно снимал трубку телефона и, набрав на нем три цифры, горящие на табло, умирающим от тоски голосом цедил заученное:

– Good afternoon! Security department. Have you got troubles? Oh, you must be pressed on the button SOS, or you pulled down the red cord in your bathroom!»²

Ефремов подержал трубку на весу, давая возможность Зевковичу послушать длинные безответные гудки, и вздохнул, наморщив лоб:

– Не отвечают...

² Добрый день! Служба безопасности отеля. У вас неприятности? О, вы, должно быть, нажали кнопку SOS или дернули за красный шнурок в ванной комнате!.. (англ.)

Он уже собирался положить трубку на рычаг, когда вдруг гудки оборвались, и чей-то высокий голос задрезжал в мембране:

– Ребята... ребята... алло!

Ефремов включил громкую связь и внушительно произнес:

– Служба безопасности.

– Ребята! – надрывался голос. – Это я... Андрей... Белл-бой! Мужики!

– Чего орешь? – резонно поинтересовался Ефремов и бросил быстрый взгляд на Зевковича. Тот отложил книжку и снял очки.

– Мужики! Здесь трупешник! Трупешник здесь, мужики!

Вадим быстро вышел из операторской.

Он стоял в ожидании лифта за колонной в «Александровском», теребя ремешок от рации, и путано соображал, что могло произойти в «трех двойках».

«Она поднялась на этаж вместе с Андреем. Значит, «трупешник» – не она. Тогда – кто же? Тот, кому парень в плаще вручил цветы? Странный посыльный вышел из отеля без букета. И ничего никому не сказал. Значит, либо он не увидел труп, либо сам этот труп и организовал! Вот почему я сразу обратил внимание на этого «курьера»! Вот почему у меня стало тревожно на сердце!»

Вадим вздрогнул, когда двери лифта неожиданно распахнулись и оттуда спиной вперед неуклюже вышел белл-бой. Он испуганно придерживал за локоть *ее*. Словно боялся, что она вырвется и станет биться в истерике, нажимая подряд все кнопки на панели лифта. Вадим посторонился, пропуская их обоих и не сводя взгляда с этой красивой женщины. Ее лицо было таким белым, что, казалось, сливалось с настенной лепниной. Белл-бой беспокоился не зря. Вадиму почудилось, что колени *ее* вот-вот подогнутся и она потеряет сознание.

Рация буквально захлебывалась:

– Пятнадцатый, пятнадцатый, ответь десятому...

– Пятнадцатый...

– Я тебя не вижу в камеру... Ты где?

– Я уже возле двести двадцать второго. Где старший смены?

Голос Зевковича вклинился через треск эфира:

– Я уже на этаже. Иду от служебного лифта...

– Хорошо. Я возле номера...

– Коля, направь на этаж двадцать первого... Пятнадцатый, возвращайся на свой пост.

– Двадцать первый, ответь десятому...

– Двадцать первый...

– Дима, ты? Давай, оставь Володю на служебном входе и дуй на четвертый этаж.

– Понял.

– Коля, ты вызвал группу?

Это опять Зевкович. Из его интонаций исчезли привычные ироничные нотки, и поэтому голос старшего смены было трудно узнать.

– Вызвал три минуты назад...

– Хорошо. Конец связи.

Через холл пронесся Дима Мещерский – subtilный, но при этом самый шустрый сотрудник службы безопасности. Он шмыгнул в лифт, двери которого придержал для него Вадим. Дрожащую и задыхающуюся от шока женщину, как эстафетную палочку, принял у белл-боя Плешаков. Он повел *ее* в операторскую, бережно поддерживая за плечи и бормоча под нос какую-то нелепицу, вроде: «Ничего... ничего... аккуратненько...»

Пока Григорьев и Мещерский шли быстрым шагом по коридору четвертого этажа, Зевкович аккуратно просунул в замок 222-го номера карточку Emergency key, распахнул дверь и просунулся на полкорпуса внутрь.

Он долго вглядывался в полумрак комнаты, разбавленный только свечением единственной настольной лампы, потом нерешительно переступил порог, потоптался в прихожей, присел на корточки, словно пытаясь разглядеть что-то, опять выпрямился и... вздрогнул, почувствовав чью-то руку на своем плече.

– Ну, что здесь? – спросил Мещерский, пытаясь протиснуться в комнату между стенным шкафом и широкой фигурой Зевковича.

Тот раздраженно преградил ему путь и стал подталкивать к выходу:

– Не видишь, мужика какого-то грохнули. Здесь крови – по колено. Выйди, а то наследим оба.

Вадим ждал снаружи. Недовольный Мещерский вышел первым, за ним – Жора. Он осторожно закрыл дверь и приказал отрывисто:

– Надо остаться здесь до прибытия оперативной группы. Все понятно?

Вадим кивнул. Мещерский промолчал, обиженный на то, что его бесцеремонно вытолкнули из номера, даже не дав рассмотреть, что к чему. Зевкович щелкнул кнопкой рации:

– Коля, поинтересуйся у этого болл-вана, то есть у белл-боя, что он еще трогал в номере, кроме сигнальной кнопки и телефона...

Ефремов щелкнул кнопкой в ответ, что означало: «Ладно, поинтересуюсь...»

Через полчаса в номере 222 орудовала дежурная группа из УВД Центрального административного округа. Помимо двух оперативников и криминалиста прибыл кинолог с огромным лохматым псом, от которого, правда, оказалось мало проку. Он, петляя, потаскал своего хозяина по этажу и остановился перед дверью лифта, ведущего в «Александровский» бар.

«Посыльный в зеленом плаще спускался на другом лифте, – отметил про себя Вадим. – Значит, собака пошла по следу белл-боя и женщины».

Еще через полчаса подъехал начальник местного ОВД, а вслед за ним – прокурор межрайонной прокуратуры и следователь.

– Ну что, геморроя прибавилось?

– Похоже, коммерса³ завалили. Два выстрела, в грудь и в голову... Две гильзы от ТТ.

– Оперативникам придется отработать жилой сектор на этаже, – предупредил начальник ОВД Жору Зевковича. – И еще понадобятся для беседы все сотрудники отеля, которые в последние два-три часа находились поблизости.

Следователь пробыл в номере недолго и спустился вместе с Зевковичем в операторскую. Начальник ОВД и прокурор еще некоторое время наблюдали за работой бригады, обменялись несколькими фразами и ушли.

К «Националю» подъехала «скорая». Носилки быстро вынесли из номера к дверям, ведущим к служебному лифту.

– Двадцать первый!.. Открой решетку во внутренний дворик... Чтобы не через служебный вход выносить этого... ну, убитого...

Вадим провожал взглядом носилки, покрытые синей простыней, из-под которой выглядывали подошвы дорогих замшевых ботинок.

«Интересно, кто этот несчастный ей? Любовник? Друг? Коллега? Какая странная смерть. Прямо в центре Москвы, в пятизвездочном отеле...»

³ Коммерс – коммерсант, бизнесмен (*жарг.*).

– Только этого нам не хватало, – услышал он голос над ухом. За его спиной ежился в брезгливом отвращении ночной менеджер. – Теперь журналисты наматывают сопли на кулак! Всех гостей отводят. Скандал. Опять – убытки...

– Да, – рассеянно кивнул Вадим, – убытки.

Молодая женщина из 222-го номера была безутешна. Она рыдала в операторской, пока оперативник записывал показания. Григорьеву показалось, что ее красивое лицо вмиг постарело и как будто утратило прежние яркие черты, словно на безукоризненный акварельный рисунок кто-то выплеснул стакан воды.

Вадим с трудом протиснулся в операторскую. Среди общего возбужденного движения и гвалта он видел и слышал только эту женщину. В тесную комнату набилось человек тринадцать. Помимо нескольких сотрудников службы безопасности здесь находились оперативник и следователь. Они деловито заняли места за столом старшего смены и, разложив бумаги, сыпали вопросами, перебивая друг друга и стараясь не утонуть в вязком, гудящем рое ответов, предположений, возмущений и переживаний. У стены испуганно жались еще не опрошенные сотрудники отеля: работник «рум-сервиса», доставивший в 222-й номер десерт и фрукты четыре часа назад, горничная из службы «хаус-кипинг» и помощник менеджера, снимавший остатки в мини-баре.

– Я забрал это... вещи из машины, – возбужденно рассказывал белл-бой Андрей. – И сразу... это... пошел в лифт вместе с ней.

Он кивнул на заплаканную женщину и прокашлялся. Андрей заметно волновался. Он положил свой форменный картуз на сдвинутые колени и перебирал на нем ремешок, словно провинившийся школьник.

– Ну вот... Мы поднялись на четвертый... Ну вот... Все было нормально. Я донес до номера... Потом... это... она, – он опять кивнул на женщину, как будто опасался, что следователь забудет, о ком идет речь, – ну, открыла своей карточкой. Она, конечно, первая вошла... Я тоже вошел следом, а она как заорет! Я сумку даже выронил. А она, – опять про женщину, – плюхнулась прямо на колени в комнате. Ну... и в рот кулачок свой так засунула. – Андрей пихнул себе костяшки пальцев между зубами. – Я смотрю: мужик валяется, а вокруг лужа черная... У него еще рука так подогнулась, – белл-бой заломил себе руку за спину. – Ну, я сразу из номера выскочил, чтобы на помощь позвать. В коридоре не было никого. А потом я опять тоже сразу вспомнил, что в номере есть кнопка для вызова этих, – он кивнул на Зевковича, – ну... секьюрити. Ну, я вернулся, кнопку нашел на стене и нажал. А она, – опять на женщину, – значит, продолжает на коленях стоять. Но уже не орет, а только подвывает так. – Андрей поскулил жалобно. – И телефон зазвонил: треньк-треньк-треньк. А она... не подходит. Как будто не слышит вообще ничего. Только кулачок вот так в рот засунула. – Опять костяшки между зубами. – И подвывает. Ну я перешагнул через нее. Очень боялся, чтобы в лужу черную не наступить, схватил трубку, а там эти... – на Зевковича, – ...и я доложил все честь по чести... Ну, сообщил...

Пока оперативник опрашивал белл-боя о событиях этого, уже свернувшегося, как молоко, вечера, следователь неспешно и терпеливо записывал показания женщины. Он не торопил ее. Она говорила медленно, делая большие паузы между предложениями, а время от времени вообще умолкала и беспомощно обводила заплаканными глазами операторскую, словно ища подсказки, помощи. Вадим несколько раз встречался с ней взглядом, и всякий раз сердце его сжималось от жалости.

Со слов женщины выходило, что она снимала этот номер в «Национале» для себя и своего жениха – главного редактора одной популярной газеты. В девятом часу ей понадобилось отлучиться из «Националя» по неотложным делам: забрать из дома кое-какие вещи для отъезда на отдых.

– Вы собрались уезжать? – перебил ее следователь, разглядывая собственную авторучку.
– Да. Вдвоем. Мы должны были лететь на курорт... – Женщина запнулась и горестно добавила: – В свадебное путешествие.

Следователь кивнул удовлетворенно, словно он уже давно догадывался о наличии билета на самолет, и благосклонно продирижировал ручкой:

– Продолжайте...

Женщина удивленно взглянула на него и, сделав паузу, собираясь с мыслями, произнесла тихо:

– А что продолжать? Когда я вернулась, то увидела, что... он лежит на полу... Кровь...

– Бляха-муха! Вот это подарочек! – Дверь в операторскую распахнулась, и на пороге возник начальник службы безопасности отеля Юрий Груздев. Он тяжело дышал, и было заметно, что его сорвали среди ночи с какого-то загородного пикника: на нем были штормовка защитного цвета с капюшоном и армейские полушерстяные брюки, заправленные в хромовые сапоги, заляпанные глиной.

От начальника за несколько шагов несло спиртным, и Вадим вдруг вспомнил, что Груздев собирался на охоту. Вероятно, ему пришлось проделать не меньше двухсот верст обратно в Москву. Не обращая внимание на собравшихся в операторской, он поискал глазами Зевковича и с упреком адресовал ему первый нелепый вопрос:

– Они что, не могли его где-нибудь на улице пришить?! Или в другом отеле...

Вадим бросил виноватый взгляд на женщину, но она, опустив голову, отрешенно рассматривала узор на линолеуме и, кажется, не услышала этого циничного восклицания.

Столпившиеся у дверей сотрудники посторонились, и Груздев решительно вошел в комнату, скользя хмурым взглядом по растерянным лицам своих подчиненных. На мгновение он задержался возле ссутулившейся в кресле женщины и, не сводя с нее глаз, протянул грязную ладонь следователю:

– Начальник службы безопасности.

Тот с достоинством пожал протянутую руку и хотел представиться в ответ:

– Следователь межрайонной...

– А это кто? – перебил его Груздев, кивая на скорбную фигурку, от которой не отрывал взгляда. – Терпила⁴, что ли?

Он наклонился, норовя получше рассмотреть лицо женщины:

– Будто я тебя раньше тут видел, девонька... Промышляешь, что ли, в отеле нашем?

Женщина вспыхнула в негодовании и встала с кресла.

Следователь, руку которого Груздев все еще продолжал пожимать, поспешил сгладить неловкость:

– Это – гостя отеля. Она проживает в двести двадцать втором номере. Убитый – ее коллега.

– Во-он что... – равнодушно протянул Груздев. Было видно, что ему ни капельки не стыдно за свою развязную бесцеремонность. Он был изрядно пьян. – Прошляпили убийцу, бездельники! Киллер приходит в пятизвездочный отель в самом центре... столицы нашей родины!.. Вашу мать! Всех расстреливает, кого хочет... и потом, насмехаясь над нами, уходит! И его никто не видел! Кто вечером дежурил на центральном?

У Вадима стукнуло сердце.

– Я дежурил... – опередил его Плешаков. – Ну и что?.. Я должен всех входящих в отель обыскивать, что ли?

– Я тоже стоял на одиннадцатом, – твердо произнес Вадим, глядя на Груздева. – И мне показался странным один посетитель...

⁴ Терпила – потерпевший (жарг.).

Но Груздев его не слушал. Он оскалился в издевательской улыбке и хлопнул по плечу Плешакова:

– А-а! Сутенер-затейник! Секс-доярка! Орел! Ни одна прошмандовка мимо не проскочит, да, Игорек? Граница на замке?

Плешаков изменился в лице и задрожал, словно отрывал от пола атлетический снаряд. Казалось, еще секунда – и он со всего размаху зарядит в челюсть своему пьяному начальнику, шипя в ярости: «Гнида! Ты же со всех смен кормишься! Ты же с «ночных» денег «Мерседес» себе купил!»

Оператор Коля Ефремов поспешно вскочил с места и вклинился в назревающий конфликт:

– Так был же посетитель в двести двадцать втором! Помнишь, Игорь? Мы же с тобой переговаривались по рации! Парень в зеленом плаще с цветами!

Плешаков поморгал, приходя в себя, и буркнул хрипло:

– Да. Помню. Переговаривались...

– В котором часу это было? – оживился следователь. – Вы запомнили его внешность?

Вадим с тревогой сообразил, что он, пожалуй, единственный, не считая белл-боя, кто видел странного визитера в лицо. Но его наблюдения, похоже, никого не интересовали.

«Что ж, ребята, бойкот – так бойкот. Выпутывайтесь сами. Вспоминайте, сочиняйте... Упрямы и глупцы».

– Это было... – Ефремов нахмурил лоб, – в начале одиннадцатого...

«Если быть точным, – мысленно поправил его Вадим, – пятнадцать минут одиннадцатого. А ровно в половину одиннадцатого посыльный покинул отель. Я как раз посмотрел на часы и подумал, что мне осталось еще полчаса дежурить на центральном».

Он насмешливо глядел на оператора.

– Да, в начале одиннадцатого, – повторил Ефремов, стараясь не встречаться взглядом с «опальным» Григорьевым. – Можно посмотреть на пленке. Я наблюдал за ним в камеру.

И он кивнул на шахматную доску мигающих квадратиками мониторов.

Оперативник удивленно перевел взгляд с Вадима на оператора и переспросил, словно ослышался:

– Так на центральном входе дежурил только один сотрудник?

Ефремов невозмутимо щелкнул кнопкой на пульте и стряхнул с рукава невидимую пыль:

– Да. Один.

Плешаков промолчал.

Пока оператор отматывал пленку, отыскивая нужную запись, следователь закончил опрашивать женщину.

– Администрация отеля предоставила вам другой номер, – сказал ей Зевкович, – чтобы вы могли отдохнуть.

– Не стоит, – она покачала головой, – я теперь все равно не усну, а утром у меня самолет. Хотя... Какой теперь самолет... Спасибо. Мне нужно побыть одной. И не здесь. – Она медленно и с усилием поднялась со стула.

– Наш сотрудник проводит вас... Вам вызвать такси?

– Да. Благодарю.

Вадим проводил взглядом эту красивую молодую женщину, которую не сломили события чудовищной ночи. Он восхищался ею.

«Она прекрасна. Какая удивительная женщина! Красивая, умная и... незащищенная. Она напоминает мне мою Милу. Мою единственную любовь...»

Дима Мещерский провел ее по длинному коридору, мимо двери комнаты с депозитными сейфами, через тяжелую штору, мимо стойки лобби – через просторный зал reception. Они

вышли через распахнутую швейцаром дверь центрального входа, в свежую, наполненную пестрыми огнями осеннюю ночь. Мещерский помог ей сесть на заднее сиденье такси и, захлопнув за ней дверцу машины, шагнул обратно на тротуар. Она посмотрела на него в окно и, чуть наклонившись к шоферу, скомандовала спокойным, деловым голосом:

– В аэропорт. Живо!

Водитель кивнул и щелкнул рычагом передачи.

Следователь тем временем усадил напротив себя сотрудника «рум-сервиса». Это был худощавый молодой человек лет двадцати по имени Вианор, с бегающими глазками и подобострастной улыбкой. Он застыл в ожидании вопросов, всем своим видом демонстрируя готовность подробно ответить на каждый.

В операторскую шумно ввалился второй оперативник. Он выглядел раздраженным и усталым. Хождение по этажам не принесло никаких результатов.

– Я отработал жилой сектор, – буркнул он, кидая на стол тощую папку из кожзаменителя. – Иностранцев не трогал. А из наших – никто ничего не видел, никто ничего не слышал... Ни шума, ни хлопков...

Вианор оживился. Его глазки сузились, и он даже приподнялся со стула, словно помогая себе торопливо выдавливать реплики:

– Хлопки... Нет, хлопков я не слышал, но... как будто... Я слышал – «спасите!». Как будто... «Спасите!»

Оперативник бросил на него удивленный взгляд, в котором одинаково читались недоверие и презрение. Следователь поднял голову:

– Вы слышали, как кто-то звал на помощь?

– Как будто...

– Что значит – как будто? – рявкнул уставший оперативник. – Я шляюсь по этажам, пытаюсь достучаться до полоумных и трусливых стариканов, а тут сидит, понимаешь, молодой да резвый, который слышал крики о помощи – и как в рот воды набрал!

– Действительно, – укоризненно произнес следователь, – что же вы молчали-то?

– Так ведь до меня еще очередь не дошла, – почти кокетливо ответил официант. – Я думал: у вас все по порядку... Чего лезть-то?

«Педик», – одновременно решили про себя следователь и опер.

– К тому же, – невозмутимо продолжал Вианор, опять садясь на краешек стула и сложив руки между коленями. – Это совсем не там было...

– Что значит – не там?

– Ну, не в «трех двойках»... В другом номере. Я и значения не придал.

– В каком же номере вы слышали «спасите»? – теряя терпение, процедил следователь.

– Ну, – парень вдруг засмутился, – это, может, и не «спасите» было...

– А где? – начал следователь, но его опередил Груздев. Задев стоящих сотрудников, он угрожающе наклонился к самому лицу официанта, будто собираясь откусить ему нос, и рявкнул:

– Ты что, идиот?! Или ты думаешь, здесь тебе памятник Героям Плевны?⁵ Чего ты задницей-то виляешь?

Следователь аккуратно оттеснил начальника службы безопасности от побелевшего Вианора и спросил как можно миролюбивее:

– А где же вы слышали возглас, который... который, может быть, вовсе и не крик о помощи, а только похож на него?

⁵ Памятник Героям Плевны – место в Москве, где в 1990-е годы собирались представители сексуальных меньшинств.

– Чуть дальше по коридору от «трех двоек», – ответил сотрудник, с опаской поглядывая на тяжело дышащего Груздева. – Я не помню номера... Но дверь показать могу.

Оба оперативника переглянулись.

– Прошу вас, – галантно произнес следователь, – подняться на четвертый этаж с нашим работником и показать ему эту дверь. – Повернувшись к хмурому оперативнику, он добавил: – Саша, сходи еще...

– Я тоже поднимусь с вами, – поспешно сказал Зевкович. – На тот случай, если нужно будет номер карточкой открыть.

Как только за ними закрылась дверь, Ефремов тяжело вздохнул:

– Нет этого парня на пленке. Один только раз его видно издалека, когда он по коридору идет. Полторы секунды – от силы. – Он еще раз отмотал пленку магнитофона и запустил изображение. – Вот этот посыльный с цветами.

На экране появилось неясное, размытое изображение молодого человека, стремительно идущего по коридору.

Все, кто был в операторской, сгрудились у монитора, стараясь рассмотреть предполагаемого убийцу. Вадим тоже подошел поближе.

На экране едва различимый человек прошел по коридору, затем сменился кадр и включился квадрат второй камеры, наблюдающей за сектором этажа перед 222-м номером. Квадрат был пуст.

– А там что, камера не работает? – удивился следователь.

Ефремов замялся:

– Я ее отключил.

Груздев подпрыгнул на стуле.

– Зачем, Коля? Ты что, ненормальный?

Ефремов помедлил с ответом. Ему предстояло признаться в том, что вот уже несколько часов он не решался произнести вслух.

– Я отключил камеру, – сказал он тихо, – потому что меня попросил об этом... убитый. В операторской повисла гробовая тишина.

Первым пришел в себя следователь.

– Вы хотите сказать, – произнес он с расстановкой, – что были знакомы с убитым?

Ефремов растерянно обвел руками комнату:

– Да мы здесь все были с ним знакомы! Полгода назад он работал в нашей смене.

Следователь перевел взгляд на Груздева. Тот поморгал глазами и неожиданно выпалил:

– Даю слово офицера – я об этом ничего не знал!

Вадим фыркнул.

– Мы работали вместе, – продолжал Ефремов. – Полгода назад он нашел себе работу по специальности и ушел из «Националя». А недавно позвонил и попросил об этой... услуге. Ну, чтобы я отключил камеру.

– А зачем? – полюбопытствовал следователь.

– Видите ли, – Ефремов покачал головой, – он хотел поселиться на пять дней в отеле инкогнито. Чтобы никто ничего не знал. Даже служба безопасности.

– Тому была веская причина? – подмигнул следователь, кивая на дверь, за которой несколько минут назад скрылась заплаканная женщина.

– Конечно, – подтвердил Ефремов. – Она ведь дама... м-м-м... замужня. Сами понимаете, все такое. А должность у нее не маленькая. Репутация опять же.

– Ты поступил нехорошо, Николай, – назидательно произнес Груздев. – Скрыл от товарищей...

Следователь захлопнул папку.

– Ладно, – сказал он, – изображения подозреваемого у нас нет. Но вы можете хотя бы определить по хронометражу коридорной камеры, сколько времени он пробыл в номере?

Ефремов оживился:

– Конечно, могу! – Он покрутил колесико на пульте и прищурился: – Без малого десять минут.

Следователь удивленно присвистнул:

– Чего-то долго. За это время можно роту расстрелять. – Он вернулся на место за столом и устало провел ладонью по глазам: – Странно все как-то.

Груздев, который уже смертельно хотел спать, пожал плечами:

– Ничего странного. Этот пацан просто непрофессионал. Он, может, десять раз в штаны наложил, прежде чем ствол достать. Потом собрался с духом, и...

На базе громко щелкнул динамик рации, и все, кто был в операторской, разом вздрогнули.

Сквозь шуршание и треск эфира на головы собравшихся в душевной комнате людей обрушился низкий голос Зевковича:

– Парни! Здесь все в крови, и еще один труп!.. Номер двести пятнадцать!

Часть первая

Крест в круге

Глава 1

В 1995 году отель готовился к открытию после длительного ремонта. В марте спешно набирали штат.

Вадиму, который уже больше года перебивался случайными заработками, позвонил университетский приятель Славик Шимунов:

– Вадька, лови шанс! После реставрации открывается «Националь» – первоклассный отель. Есть возможность пристроить тебя туда охранником.

– Кем? – опешил Вадим. – Охранником?

– Не будь снобом, – урезонил его приятель. – Время такое, что не до жиру. Или тебе не нужна работа?

– Работа мне очень нужна, – Вадим замялся, – просто...

– Что просто?

– Просто как-то неожиданно... Охранником.

– Ну, не охранником, – нехотя поправился Шимунов, – там это у них называется «служба безопасности». Сотрудником службы безопасности!

– Да не важно, как это называется, – рассмеялся Вадим. – Ну какая из меня безопасность? Аспирант-костолом?

– Григорьев, не дури. Лучше меня знаешь, что аспиранты нынче торгуют на рынках сигаретами, а профессора подрабатывают частным извозом. Сколько ты сейчас наскребаешь в месяц со всеми своими халтурами?

Вадим промычал в трубку что-то невнятное и со вздохом закончил:

– ... рублей.

– Ясно. – Приятель усмехнулся и передразнил: – Тю-тю-тю... рублей. Ты хоть спроси меня, какая зарплата у тебя предвидится в «Национале»!

И, не дожидаясь вопроса, выдохнул торжественно:

– Двадцать раз по «тю-тю-тю»!

Вадим помолчал и вдруг засмеялся.

– Да что я тебя уговариваю?! – возмутился Шимунов. – Не хочешь – не надо! На такое теплое место – только свистни – толпа желающих! А этот сноб еще хихикает!

– Сдаюсь! – миролюбиво отозвался Вадим. – Охранником – так охранником. А смеюсь я совсем по другому поводу. Понимаешь, такое совпадение странное... «Националь»... Я ведь писал об этом отеле. Помнишь мой труд про Шолохова?

– Что-то припоминаю, – промычал приятель. – Жена Ежова и честный мент?

– Сотрудник НКВД, – поправил Вадим.

– Один бес, – рассмеялся тот.

– Но и это еще не все. – Вадим понизил голос. – Ненаписанный роман моего отца назывался «Отель N». И этот роман – про меня...

– Вот видишь, – то ли назидательно, то ли полушутя отреагировал Шимунов. – Эта работа тебе предсказана!

Вадим опять засмеялся:

– Но в романе – печальный финал... Впрочем, все это ерунда, суеверия. А тебе – спасибо, ты меня очень выручил. Честно.

Приятель помедлил, словно обдумывая, как сказать, и с деланой небрежностью закончил разговор:

– Да! И вот еще что. Ну, понимаешь... Рыночные отношения... Туда-сюда... Словом, с тебя – половина твоей первой зарплаты. Мое вознаграждение. О'кей?

Вечером Вадим сообщил новость Матвею Лифанову – «дяде Матвею», который после смерти отца – Бориса Максудовича Григорьева – стал ему самым близким человеком:

– Завтра поеду на собеседование. Буду охранником в отеле «Националь».

– Где? – переспросил тот и почему-то выронил вилку.

– Звонил приятель, – пояснил Вадим. – Сказал, что такое место на дороге не валяется. И заработок приличный.

– Отель N... – в задумчивости произнес Матвей и усмехнулся. – Ну как тут не поверить в пророчества. – Он медленно поднял вилку с пола и бросил ее в раковину. – Скажи, мой мальчик, а ты веришь, что твою жизнь может кто-то за тебя написать? Отец, например, или злая старуха.

Вадим сел за стол, провел ладонью по мятой клеенке, словно собираясь выпрямить ее, разгладить, сделать ровной и без складок. А потом сказал совершенно серьезно:

– Да, я верю, что наша жизнь кем-то написана. Но не старухами и не писателями. Больше того: она написана *не до конца*. А финал зависит от того, сколько раз в пути мы сделаем выбор. Правильный или неправильный.

– А сейчас? – встрепенулся Матвей. – Сейчас ты сделал правильный выбор?

– Надеюсь, что – да. – Вадим опять задумался. – Как странно... Один звонок может изменить твою жизнь. Прояснить ее...

– Или погубить, – закончил Матвей.

Вадим открыл было рот, чтобы ответить, но в этот момент оба мужчины вздрогнули: прихожую разрезал сухой, продолжительный звонок в дверь...

За утратившим от сырости какую бы то ни было прозрачность окном троллейбуса слезливо корчилась Тверская. Реагентное месиво пузырилось грязью под колесами спешащих машин. Мартовские лужи на тротуарах, как в небрежно рисованном мультике, выбрасывали то желтоватую «М», оброненную жизнерадостным «Макдоналдсом», то красную глыбу утренне-радостного здания мэрии, то голубую неоновую абракадабру скромных кафешек и высокомерных бутиков.

Вадим ехал на собеседование к некоему Юрию Груздеву – будущему начальнику службы безопасности «Националя» – в старый особнячок, затерявшийся в многочисленных кривобокх переулках самого центра столицы. Он не знал, радоваться ему или грустить. Ухватившись за поручень, он прижался щекой к холодному металлу и тоскливо-рассеянно наблюдал через мокрое стекло агонию московского утра. Он пытался утешить самого себя.

«Как странно... Почему меня так встревожили эти мистические совпадения? Почему вчера опять прозвучало имя моего отца при таких странных обстоятельствах?»

Сначала – «Отель N...», с которым связаны неведомые пророчества... Отец до конца жизни верил, что «написал» мою судьбу, мою «последнюю главу». Потом вдруг – звонок в дверь, и опять звучит его имя! Этот жуткий визит следователя, который сначала хочет видеть умершего, а потом говорит: «Это вы его убили!» И не кому-нибудь, а человеку, заменившему мне его во всем.

А может, действительно, нельзя бороться с предопределенностью? Может, плюнуть сейчас через левое плечо, повернуть в обратную сторону и сидеть дома? Но где гарантия, что таким образом я уберегусь от бед, что они не подкрадутся ко мне совсем с другой стороны и не нанесут сокрушительный удар? Хорош же я буду, если побегу от судьбы! Сам ведь сказал:

с судьбой не борются, и от нее не бегают, потому что она пишется не нами. Но приходится каждый день, каждый час, каждую минуту выбирать одну из двух дорог – ту, которая узкая, а не соблазнительно широкая. По большому счету, это и есть выбор между Богом и смертью. И пока ты на узкой дороге, никто никогда не напишет твою последнюю главу...»

Вадим сам не заметил, что давно уже вышел из троллейбуса и, зачерпывая ботинками талое месиво, добрал до самого конца кривого переулочка, утыканного припаркованными авто. Он остановился возле желтого двухэтажного здания перед черной железной дверью, покрытой, словно сыпью, кнопками домофонов, поискал глазами нужную табличку и, глубоко вздохнув, нажал пуговку звонка.

«Все будет хорошо... А пока мне просто... нужна работа. Любая... Видит ли меня сейчас мой отец?»

Глава 2

– Григорьев! Боря! Боря! Ребенка задавили!

Говорят, что человек осознанно помнит свою жизнь, начиная с пяти лет. Но эти ранние воспоминания – лишь фрагменты, вспышки, осколки. Сладковатый запах резины новых галош, лицо матери, протяжная, берущая за душу песня, железистый привкус крови на языке, чья-то липкая, горячая, большая ладонь, соседская девочка с белым бантом, гигантская, сахарная сосулька за окном, страх перед дворовым псом, стыд за проигранный спор, гордость за прыжок с крыши, восторг от синего стеклянного шарика, выменянного на огромный шпингалет от оконной рамы...

Отец Вадима Григорьева был исключением из правил. Он помнил и осознавал всю свою жизнь с самого раннего детства. Его воспоминания изобиловали таким количеством подробностей, деталей, ярких, живых образов, что собственное детство казалось ему увиденной вчера кинокартиной или только что прочитанным романом.

Его жизнь началась с этого истошного женского крика на переполненном перроне в Ташкенте, куда двухлетний Боря Григорьев был эвакуирован вместе с детским домом в начале войны: «Григорьев! Боря! Боря! Ребенка задавили!..»

Он бежал, ухватившись за чье-то пальто, стараясь не потерять из виду воспитателя и нянечку. Огромные чемоданы, пестрые тюки с поклажей, тележки, красные туфли, черные, ободранные башмаки, блестящие сапоги с вздутыми ушами галифе над ними – все смешалось в едином невообразимом водовороте.

Совсем рядом кто-то кричал, но Боря не мог разобрать ни единого слова. Он силился понять, уловить что-то знакомое в этом языке – и не мог. Люди здесь говорили совсем не так, как все, кого он знал в Москве. И ему стало страшно. Он выпустил на мгновение спасительную полу пальто, и в ту же секунду густое шипение заглушило все остальные звуки, пронизало насквозь все его существо и разлилось молочным непроницаемым туманом.

Состав лязгнул колесами и опять зашипел. Боря закричал, выставив вперед ручки, и его душераздирающий крик утонул в свирепом шипении стального чудовища и в гулкой какофонии взрослых голосов, говорящих на непонятном и чужом языке. Он повернулся назад, стараясь разглядеть хоть кого-нибудь в ужасном тумане.

Чудовищных размеров черный чемодан, как стена, вырос ему навстречу, ударил в грудь и подбородок. Показались на мгновение очертания рук и плащей, но тут же перевернулись, как в неведомой карусели, и раскаленные плиты перрона обожгли щеку. «Григорьев! Боря!»

Он захлебывался в собственном крике и не слышал его. Но это спасительное, до боли знакомое «Григорьев! Боря!» – он услышал и потянулся к нему из последних сил, пока огромный, будто каменный, сапог не опустился на его вцепившуюся в плиты руку.

И все погасло...

– Косточки хрупкие, – произнес чей-то усталый голос. – Срастутся довольно быстро, если восполнить нехватку кальция... Но пианистом он уже не будет.

Боря открыл глаза в незнакомой белой комнате с неровными стенами, похожими на складки халата, в котором чужой и строгий дядя стоял над ним, теребя в руках деревянную палочку. Он взглянул на мальчика поверх очков и повторил твердо, словно читал правила, которые необходимо запомнить:

– Но пианистом уже не будет.

Едва Боря открыл глаза, как почти сразу заплакал. Дядя уже давно ушел, и его место заняла нянечка тетя Рая, потом – другая, со смуглым, красивым лицом, а Боря все плакал и плакал. И вечер, и ночь, и следующий день, и следующий вечер. Наверно, именно тогда он

и выплакал все слезы на всю свою оставшуюся жизнь. Потому что последующие катаклизмы, страхи, несчастья и потери, пунктиром прочеркнувшие его отрочество и юность, не смогли выдавить больше ни одной слезинки из его печальных и больших глаз. Сердце покрывалось рубцами и шрамами, душа металась и рыдала, а глаза оставались сухими.

Врач оказался прав: кости на левой руке срослись неудачно, и отец Вадима остался инвалидом. Он всегда стеснялся этого своего дефекта, поэтому даже на редких фотографиях, запечатлевших его ташкентское детство и юность, видно, как Боря неловко прячет свою маленькую, корявую, как ветка чинары, кисть руки глубоко в карман.

В течение последующего года детский дом, в котором воспитывались Борис и еще дюжина московских ребятишек, трижды переезжал с места на место. Их селили то в небольшой пристройке к мечети, то в огромном белоснежном шатре, разбитом прямо на улице, то в кургузом глинобитном здании, в котором до войны размещались курсы повышения квалификации хлопкоробов. Но места все равно не хватало. Ташкент принимал сотни, тысячи людей со всех концов страны – эвакуированных, раненых, детей. Вокзал тонул в паровозном тумане – сюда стягивались бесконечные вереницы доверху груженных составов: госпитальные поезда и даже целые заводы, перемещаемые из сердца страны на восток вместе с оборудованием, станками и сырьем.

Под госпитали освобождались все пригодные для этого здания и сооружения. Но места для раненых все равно не хватало. Они лежали в коридорах и проходах, иногда даже во дворе на складных койках – молодые парни, без рук, без ног и с застывшей болью в глазах.

Дни тянулись за днями, слипались в недели и месяцы – нескончаемой скорбной вереницей, бесшумным пустынным караваном. А может, это только казалось, что время замедлило ход, потому что дети выросли очень быстро.

Шел третий год войны.

Маленький Боря Григорьев выглядел не по возрасту серьезным ребенком. Он почти не говорил, мало играл, зато мог часами слушать. Его огромные внимательные глаза жадно сверкали в полутемном углу тесной детской комнаты, когда старшие ребята плели друг другу небылицы, прочитанные, подслушанные или придуманные здесь же, в сиротском доме, эвакуированном за тридевять земель – туда, куда не долетали даже самые мощные самолеты врага, где не было слышно грохота бомбежек и залпов артиллерийских орудий. Он – чуть ли не единственный из всех детей – мог, не отрываясь, слушать книжку, читаемую вслух нянечкой во дворе. Прочие ребята быстро сбегали каждый по своим делам, а Боря сидел, не шевелясь, устремив задумчивый взгляд куда-то поверх тополей и спрятав под мышку свою маленькую, искалеченную ладошку. Когда уставшая и охрипшая нянечка захлопывала книжку и вздыхала примирительно: «Давай сделаем перерыв. Потом дочитаем», – он не протестовал, деловито слезал со скамьи и, не говоря ни слова, шагал прочь. Он был благодарным слушателем; лучшим другом его стал большой черный репродуктор, возле которого он проводил в одиночестве долгие часы.

Маленького Борю Григорьева ребята постарше нередко таскали с собой на прогулки по городу. Оставленные практически без присмотра дети, уставшие от бесконечных переездов, измученные недоеданием, болтались по улицам города, казавшегося им одной большой, сказочной и в то же время полной ужасов страной. Страной, то ли сошедшей с обложки старой книжки про волшебников с седыми бородами и туфлями с задранными носами, то ли созданной их собственным воображением. Страной, где герои восточных сказок соседствовали с героями волнительной картины «Путевка в жизнь».

Здесь поражало все: древние мечети с высоченными минаретами, базары с горами сладких фруктов и чанами, в которых дымилась еда из риса, овощей и бараньего жира, верблюды,

равнодушно жующие жвачку, забавные ослики, таскающие тележки с поклажей по узким улочкам, виноградники и фруктовые сады. А среди этой пестрой, наполненной дурманящими ароматами жизни шныряли беспризорники и бродяги, воры и жулики – босота, рожденная всеобщей нищетой и горем. Ташкент задыхался и стонал, пытаясь приютить и накормить тысячи и тысячи людей.

На улицах или на базаре можно было поживиться: стащить с лотка нехитрое лакомство: кусочки застывшей манной каши, смазанные коричневой патокой, или маленький пончик с большой дыркой посередине. На окраинах у оставленных без присмотра коров детдомовцы воровали жмых, рвали недоспелый урюк или виноград, растущий в ухоженных дворах за оградами, сплетенными из камыша.

Нередко дети выступали в госпиталях перед ранеными красноармейцами с непривлекательными и безыскусными импровизациями: читали стихи, пели жалобные песни, танцевали и разыгрывали забавные сценки. Борю Григорьева припасали «на десерт». Он выходил из-за спин своих товарищей – маленький и серьезный, – обводил окружающих задумчивым взглядом и вдруг выводил высоким и сильным голосом:

Я сегодня с утра
Сам не свой!
Мне милка не дала,
И я – злой!

Он удивленно затихал под взрыв хохота. Бойцы забывали про боль и страдания, утирали перебинтованными культиями глаза и кричали сквозь смех: «Бис!.. Бис!..» Раненые солдаты любили детей, знали их по именам и щедро одаривали сахаром и вкуснейшим ржаным хлебом. А однажды Борису досталось полбанки всеми позабытого и потому экзотического лакомства – порошка какао. Вечером его ели прямо ложкой, сидя на Бориной кровати, сопя и растирая коричневые слюни по подбородкам.

Каждое утро по городу катилась телега, в которую сваливали умерших за ночь от голода. Леша Смирнов – самый старший (ему исполнилось десять), а потому авторитетный в компании детдомовцев мальчик, подталкивал в спину малышек и тыкал грязным пальцем в сторону скорбной телеги:

– Смотрите! Они умерли! Их убили ночью!

Боря во все глаза смотрел на желтые ступни ног, выглядывающие из-под засаленного брезента, и в ужасе пятился за спины своих приятелей.

– А зачем их... убили? – шепотом спрашивали Лешу ребята.

– Дурачье! – презрительно ухмылялся он. – Вы разве не знаете про *пирожки с человеческой*?

В самом деле, город полнился слухами, что из умерших людей кто-то делает пирожки, а потом торгует ими на базаре. Боря слышал, как однажды поздним вечером воспитательница шепталась с нянечкой на кухне.

– Это чистая правда, Раиса, – убеждала она пожилую женщину. – Вчера Корней, наш завхоз, надкусил пирожок, а в нем... человеческий палец! Я сама видела!

Как-то ночью Борю разбудил тревожный шепот. Леша Смирнов расталкивал сонных мальчишек:

– Вставайте, пацаны, живее! Я его выследил! Я выследил этого людоеда!

Мальчики таращились в темноте, протирая глаза и ничего толком не соображая из-за недосыпа и урчания в пустых желудках.

– Кого? Что? Что случилось?

– Он торгует на базаре мясом умерших людей! Сам видел! Пошли, пацаны! Мы должны его наказать! Мы должны отомстить!

Они бежали по ночным улицам города вдоль речки Чорсу, беспокойно журчащей в темноте, мимо низкорослых домишек и развесистых чинар. Останавливались передохнуть возле спрятанных среди деревьев хаузов – небольших колодцев, в которых даже в самую невыносимую жару всегда стеклянно дрожала студеная вода.

Боря быстро выбился из сил и чуть не плакал, едва поспевая за своими приятелями. Он дышал широко раскрытым ртом и тихонько постанывал. Ему было страшно идти в темноту враждебного и таинственного города, но еще страшнее было остаться где-нибудь у скрипящего лягушками хауза и навсегда потеряться в зловещей и черной неизвестности. Он не понимал, куда они бегут и зачем. Если что-то делают все – значит, так надо. Он – один из всех. Он делает общее дело. Он – мужчина.

Четырехлетка, он уже знал слово «кровь». Он видел, как белеют скулы и сжимаются руки у людей, произносящих это короткое, но такое грозное слово. Слово, которое знала вся страна.

Но Борис никогда не видел, как льется кровь. В эту холодную, леденящую душу и руки ташкентскую ночь он впервые узнал, как это бывает...

Потом, много позже, он с ужасом понял, что именно это первое убийство, совершенное на его глазах, спустя много лет сделало убийцей и его самого.

Семеро разновозрастных мальчишек остановились возле низкорослого, но аккуратного домика, утопающего в черных деревьях ухоженного сада. Ладная камышовая изгородь была настолько низкой, что, казалось, взрослый человек мог ее просто перешагнуть. Ребята не спешили забираться во двор. Они сдерживали дыхание, стараясь не шуметь в темноте, и боязливо ежились, поглядывая на своего вожака.

Леша Смирнов кивнул на белеющую из-за деревьев стену дома:

– Здесь он живет, гад! А по ночам печет пирожки. – Он подергал шербающую калитку и прислушался. – Собаки нет. Ништяк, пацаны!

Он пытался приободрить своих оробевших товарищей, но «пацаны» заметно приуныли. Они в нерешительности переминались с ноги на ногу возле калитки и стучали зубами.

– Обоссались, крохоборы? – Смирнов начинал терять терпение. – Сами захотели на пирожки пойти?

Мальчишки втянули головы в плечи и пристыженно молчали.

– Вы трусы, а не мужики, – не унимался Леша. – Вас любой враг одолеет! Тот, кто боится врага, – сам враг!

На секунду этот аргумент подействовал. Ребята зашевелились и подтянулись вплотную к калитке. Толя Белый, худенький, высокий мальчик лет семи, прошептал едва слышно, стараясь унять дрожь в голосе:

– А где он... это... пирожки делает?

– Там! – Леша уверенно показал рукой куда-то в глубину двора. – В деревянной пристройке. Дым чувствуешь?

Толя повел носом:

– Да, чувствую...

Ребята таранились в темноту двора, стараясь рассмотреть жуткие стены, за которыми хладнокровно жарят людей.

– Мы должны наказать злодея! – Смирнов отступил на шаг и решительно извлек из сапога тряпичный сверток. В темноте на секунду зловеще сверкнуло узкое, длинное жало стальной заточки.

Мальчишки остолбенели.

– Вчера у баркасовских выменял на медицинский жгут, – пояснил Леша, упиваясь всеобщим удивлением и восхищением.

Воспитанники баркасовской коммуны славились на всю округу своим безрассудным хулиганством и неуправляемой жестокостью. Ходили слухи, что они убили двух немцев-переселенцев, забрали у них аккордеон и продали его на рынке, а на вырученные деньги купили медицинский спирт. Пьяные малолетки бродили по городу с заточками и самодельными кистенями, наводя ужас не только на обычных граждан-переселенцев: корейцев, греков, немцев, крымских татар, но и на местную шпану.

– Переселенцы – враги нашей родины, – заявляли баркасовские.

– А вы сами-то кто? – спрашивали их.

– Мы – эвакуированные. Дети трудового народа. А переселенцы – враги народа!

Тот факт, что Смирнову удалось найти общий язык с баркасовскими и даже выменять у них заточку, – почему-то успокоил ребят. Они с уважением поглядывали на сверкающее лезвие и впервые чувствовали себя в безопасности.

– Ну что, пацаны? – задорно подмигнул Леша. – Вперед?

– За Родину! – прошептал Толя Белый и рванул на себя калитку.

Они быстро продвигались к белеющему в темноте дому, прячась за деревьями, пахнущими недоспелыми абрикосами. Глаза постепенно привыкали к ночному сумраку, и вскоре ребята без труда различали все предметы. Прямо в саду одиноко морщилась складками летняя кухня из камышовых стволов – бесхитростная постройка с фанерной крышей. Сам дом вблизи казался выше, потому что порос сверху буйной зеленью – словно водрузил на себя лохматую, облезлую шапку. У стены разместился аккуратно сложенный инструмент: мотыга, несколько тяпок, лопата и большая деревянная тачка.

Толя Белый вытащил мотыгу и закинул ее себе на плечо, как винтовку.

Мальчишки топтались посреди двора, не зная, что делать дальше. Ночь зашила старый город глухими плотными нитками, и даже выглядывающий из-под черных стежков неровный лоскут восточного неба, казалось, впитывал в себя звенящую, тревожную тишину.

И вдруг среди этой напряженной тишины раздался шорох. Потом – еще. Будто кто-то вздохнул и ворочался совсем близко. В двух шагах...

– Это здесь! – пронзительно зашептал Смирнов и отпрянул назад, выбросив перед собой руку с заточкой.

Ребята застыли на месте, напряженно вслушиваясь и тарашась на фанерную дверь маленькой пристройки. Действительно, шорохи доносились из-за неё. Кто-то невидимый и таинственный ходил внутри и тяжело, прерывисто дышал.

– Слышишь? Что это? – спросил Толя, опустив мотыгу на землю и приготовившись дать деру. – Это... это он?

Смирнов угрюмо кивнул:

– Мертвецов режет. На кусочки...

По спинам мальчишек пробежал мороз. Казалось, они оцепенели от ужаса.

Леша скользнул взглядом по их побелевшим физиономиям, засунул заточку под мышку и, покопавшись в карманах штанов, извлек маленький светлый предмет, похожий на скомканный в шарик лист бумаги.

– Помоги же... – прошипел он со злостью Толе и протянул ему спички. – Жажигай!

Тот поспешно бросил мотыгу на землю и, взяв коробок, принялся нервно чиркать по нему спичкой. В темноту сыпались искры, но огонь не хотел заниматься.

– Быстрее, растяпа!

Толя волновался, и у него дрожали руки. Наконец спичка вспыхнула с громким шипением и озарила пространство у самой двери. Мальчишки увидели, как Смирнов быстро поднес к

дрожащему в Толиных руках огню свой таинственный комочек, стараясь подпалить торчащий уголок.

Сера с сырой селитрой в плотной промасленной бумаге, все вместе – завернутое в тонкую фольгу. Привет от баркасовских! За Родину!

Леша отвел далеко в сторону руку с едва занявшимся огнем адским комочком, резко распахнул легкую дверь, швырнул его в темноту помещения и сразу же ногой толкнул дверь обратно. Она закрылась, звонко стукнув. В пристройке что-то хлопнуло, и было слышно, как за дверью усилились шорохи и вздохи. Шум нарастал, и Смирнов, приготовив заточку, присел на корточки.

Через мгновение прямо на него из дверного проема вместе с клубком дыма выкатилось что-то светлое, похожее на собаку, и тишину двора прорезало жалобное блеяние. От неожиданности Леша потерял равновесие и, зажмурив глаза, не целясь, ударил заточкой в белый лохматый шар. Овца выдернулась из-под руки, споткнулась, прочертила головой по земле, судорожно перебирая ногами, и на мальчишек выплеснулся жуткий, почти человеческий крик. Он взорвался в ушах, как лопнувший сосуд с ледяной водой.

Ничего не соображая и ничего не видя вокруг, ребята бросились врассыпную, ломая сучья и спотыкаясь в темноте о камни и редкий кустарник. Один за другим они перемахивали через камышовую изгородь и что было мочи бежали прочь от страшного крика.

Боря Григорьев не побежал. Он прижался спиной к стене пристройки и с ужасом смотрел на бьющееся в судорогах тело животного. Смирнов, оправившись от шока, затравленно огляделся по сторонам и, увидев Бориса, истошно крикнул:

– Агас! Пацан! Ноги!

Боря не шелохнулся.

Леша попятился к деревьям, пахнувшим абрикосами, бросил последний взгляд на умирающую овцу, развернулся и быстро исчез в темноте сада.

Стремительно светало. Боря заворожено смотрел, как из сиреневого полумрака вырастают и обретают очертания предметы, как становится видимым и осязаемым двор, обнаруживая и демаскируя самые потаенные и надежные места, где можно было бы спрятаться, затаиться, исчезнуть. Он видел, как прорисовываются трещины на шершавой, как натруженная ладонь, земле.

На этой земле, в центре двора, в луже самой настоящей *крови*, лежало тело несчастного животного, убитого на глазах у Бориса. Смуглолицый мужчина с копной черных, хотя уже заметно седеющих, волос, в одной белой суконной рубаше с короткими, выше локтей, рукавами, сидел на корточках, склонившись над бездыханной овцой. За его спиной в гробовом молчании стояли неизвестно откуда появившиеся дети. Большие и маленькие, темненькие и светлые – они были незнакомы Борису. Они были для него чужими и враждебными.

Мужчина медленно взял овцу на руки, выпрямился и, утопив лицо в ее перепачканной кровью шерсти, побрел в дальний конец двора. Дети остались стоять возле невысыхающей кровавой лужи. Самый маленький из них – с виду ровесник Бориса – громко рыдал, уткнувшись в платье старшей сестры.

Боря все еще подпирал спиной стену пристройки. Ноги налились свинцом, а в ушах плыло дрожащее эхо ночного крика. Он смертельно устал и даже не знал, чего ему хочется больше – плакать, спать или есть. Даже наказанному за какую-нибудь провинность, ему не приходилось так долго стоять на одном месте в углу. Шок от пережитого и увиденного этой, уже уходящей ночью словно приклеил его к холодной стене.

Дети окружили Бориса плотным полукольцом и рассматривали с враждебностью, смешанной с любопытством.

– Ты вор? – спросил его светловолосый паренек, сверкая исподлобья серьезным, пронзительным взглядом.

– Он враг, – ответил за Борю другой мальчик – постарше. – Он убил нашу Лолу... Фашист!

Борис вздрогнул. Этими страшными словами называли тех, из-за кого страдали и плакали люди, с кем сражались хорошие и добрые красноармейцы, которых Боря навещал в госпитале. Враг и фашист. Нет ничего на свете ужаснее этих слов.

– Почему же ты не убежал со всеми? – спросила его самая старшая девочка – почти тетя – с красивыми темными глазами и длинными русыми волосами, стекавшими по гладким, словно мраморным, плечам. На ней был выцветший, но опрятный сарафан, из-под которого выглядывали загорелые босые лодыжки. Она подошла к Борису вплотную, и он почувствовал ее запах – сладкий и вкусный. Так пахнет хлеб. А еще, наверно, так пахнет дом, которого у Бориса никогда не было.

– Почему же ты не убежал? – повторила она вопрос, взяв мальчика за плечи и пытаясь заглянуть ему в глаза.

Борис молчал. На мгновение у него перехватило дыхание. Он увидел два темных солнца в обрамлении длиннющих ресниц. Ему вдруг захотелось ткнуться лицом в этот пахнущий хлебом сарафан и не просыпаться никогда.

– Что же ты молчишь? Как тебя зовут?

Девочка еще некоторое время разглядывала его осунувшееся, по-взрослому серьезное лицо, потом решительно взяла мальчика за руку и направилась к дому. Боря послушно отлепился от стены и побрел за ней.

Сняв на пороге тяжелые грязные башмаки, он шагнул в дом, как пленник – не сопротивляясь и почти ничего не соображая. В комнате было очень тепло, а пол под босыми ногами казался прохладным. Борю усадили на шаткий деревянный стул. Он неловко прислонился боком к спинке и сразу заснул.

В полдень Бориса вели по залитым солнцем улицам – тем самым, которые этой тревожной ночью выглядели и пахли совсем по-другому. Боря таращился на выглядывающие из-за чинар минареты, на крыши мечетей, на дышащие жарой глиняные стены домов, – и смутно припоминал, какими враждебными и таинственными они представлялись ему в сырой и душной темноте.

Девушка с глазами-солнцами крепко держала его ладошку в своей руке и вышагивала по земляной дороге, стараясь не отставать от отца, идущего впереди. Борис разглядывал его спину в белой рубашке – в той самой, на которой еще остались следы крови погибшей овечки.

Час назад, когда Боря проснулся на узкой деревянной кровати, девушка рассматривала чернильное клеймо на его сорочке.

– Детский дом номер пять имени Тельмана, – прочитала она и вопросительно уставилась на Бориса. – Значит, ты сирота?

Он молчал, сидя на кровати и хмуро уставившись в складки махровой простыни.

– Одевайся. – Девушка кинула ему сорочку.

Пока Боря натягивал на себя рубашку, она задумчиво рассматривала его торчащие ребра, худые, острые локти, искривленную, непослушную ладошку.

– Знаешь, – произнесла она серьезно, словно обращаясь к взрослому человеку, – я всегда думала, что все несчастные и обиженные, обездоленные и голодные никогда не смогут обидеть таких же, как они сами.

Борис задержал руку в рукаве и бросил быстрый взгляд на девушку.

– Я сама была сиротой, – продолжала она, – и знаю, что такое страх и голод. Что такое – одиночество. Но я никогда, слышишь, никогда и в мыслях не могла представить, что можно

отобрать что-то у таких же детей, как я. Бедняк не грабит бедняка, понимаешь? Сирота не обижает сироту, а больной не глумится над больным...

– Галинка! – позвал откуда-то со двора мужской голос.

Девушка встала, выглянула в крохотное окошко, постояла несколько секунд перед Борисом в какой-то печальной недоговоренности, вздохнула и быстро вышла из комнаты.

Мальчик долго смотрел на закрывшуюся за ней дверь и наконец произнес вслух первое за последние сутки слово:

– Галинка...

А через час они шли втроем по узким, залитым солнцем улицам. Борис удивлялся тому, что куда-то исчез, испарился его страх. Ему было хорошо и покойно рядом с этой взрослой русоволосой девочкой. Он не знал, куда они идут. Он желал только, чтобы их неведомый путь никогда не заканчивался, чтобы его увечная ладошка как можно дольше оставалась в ее руке.

Когда они появились в махалле⁶, где размещались эвакуированные детские приюты, и стали заходить в каждый дом, он не испугался. Только почувствовал, как сильно заколотилось сердце, как холодно и тоскливо защемило где-то ниже груди. Боря увидел их общий временный дом издалека и опустил глаза. Он понял, что все рухнуло, не успев даже обрести очертания какой-то сладкой мечты. Он не боялся наказания. Он боялся выпустить свою ладонь из ее руки. Навсегда.

– Имени Тельмана? – переспросил какой-то чумазый паренек на улице. – Это там... В желтом доме.

Через час Борис уже топтался под дверью, за которой о чем-то долго разговаривали его спутники со старшим воспитателем Валентиной Марковной. Минуты тянулись невыносимо долго. Его страшила неминуемая расправа со стороны ребят – участников сегодняшнего ночного приключения. Леша Смирнов уже дважды, будто случайно, проходил мимо него по коридорчику, останавливался и, озираясь по сторонам, шипел ему прямо в лицо:

– Пред-д-д-атель!

Вслед за Смирновым появлялся Толя Белый. Он, не останавливаясь, быстро проходил мимо Бориса, стараясь задеть его локтем или плечом, и бросал сквозь зубы раскатыстое:

– Тр-р-р-ус!

Наконец дверь распахнулась, и Валентина Марковна строго кивнула:

– Григорьев, зайди.

Все убранство воспитательской состояло из старого потрескавшегося стола с причудливой, совершенно круглой настольной лампой, потертого, пропахшего кошками дивана и двух стульев, заваленных папками и бумагами. Одну из таких папок сейчас держала в руках Валентина Марковна.

На диване сидела Галинка с отцом, а у противоположной стены, присев на подоконник и обмахиваясь фуражкой, стоял черноволосый милиционер.

Воспитатель подтолкнула Бориса к дивану:

– Подойди, Боря. Познакомься: этого дядю зовут Максуд.

Галинкин отец привстал, волнуясь, вытер ладони о штаны и протянул ему свою большую смуглую ручищу:

– Здравствуй опять, йигит.

Боря не шелохнулся. Он с прежним испугом разглядывал бурые пятна на белой рубашке дяди Максуда, а перед глазами одна за другой вставали картины этой ужасной ночи. Ему показалось, что он даже опять услышал жуткий, душераздирающий крик умирающего животного.

⁶ Махалля – район, муниципальное образование (узб.).

– Дядя Максуд теперь... твой папа, – торжественно закончила Валентина Марковна и на всякий случай присела на корточки перед Борей. Тот недоуменно перевел на нее взгляд, словно постигая заново смысл этого короткого, но огромного и в обычное время такого желанного слова.

«У тебя теперь есть отец. У тебя есть семья!»

На секунду он замер и вдруг отпрянул назад:

– Он... делает пирожки из мертвых людей!..

В комнате воцарилась тишина. Присутствующие переглянулись. Милиционер у окна, усмехнувшись, провел рукой по мокрому лбу:

– Обычные городские бредни.

Галинка решительно встала с дивана и присела на корточки рядом с воспитателем.

– Как тебе не стыдно! – отчеканила она, взяв Бориса за плечи и сверкая ему в глаза своими солнцами. – Тебе, такому большому мальчику, – верить в подобную чушь! Мой папа... – она на мгновение запнулась и с гордостью поправилась, делая ударение на первом слове: – *Наш* папа – самый лучший, самый добрый, самый честный человек на всем белом свете!

Боря стоял в нерешительности, и в его глазах все еще дрожал испуг.

Милиционер отошел от окна и торжественно надел фуражку:

– Послушай меня, малец. Ты мне веришь? Представителю советской милиции?

Мальчик кивнул.

– Так вот, – продолжал милиционер. – Я тебе заявляю, что товарищ Хаитов... Максуд... твой теперешний отец... никогда не делал пирожков ни из каких мертвых людей. Он – честный труженик и достойный гражданин нашей Советской Родины.

Боря перевел взгляд на Галинку и... улыбнулся. Впервые в жизни.

Глава 3

Семья Максуда Хайтова – как и десятки других узбекских семей в годы войны – называлась новым и непонятным словом «патронатная». Боре Григорьеву очень нравилось это звучное слово. Оно наверняка обозначало столь нужные фронту боеприпасы – патроны. Глядя на своих новых братьев и сестер, он с гордостью думал:

«Мы все – патроны! Мы все вместе сможем дать отпор любому врагу. Потому что мы – семья!»

Однако у этого слова был еще и особый, взрослый смысл. Не менее героический, и столь же трагичный, сколь и счастливый. Оно означало, что из девяти братьев и сестер, появившихся у Бориса, лишь четверо были *родными* детьми Максуда.

Помимо москвича Бориса у Максуда жили два мальчика из Белоруссии, печальная девочка-латышка по имени Инга и смешной шустрый татарин Ринаг.

Галинка была самой старшей из всех приемных детей. Ей исполнилось четырнадцать лет, и она, закончив семь классов, работала медсестрой. В первые месяцы войны Галинку привезли в Ташкент из далекого Чернигова, в котором на глазах десятилетней девочки повесили ее мать и брата. Она почти разучилась есть, спать и говорить. Три долгих недели ее и других детей везли в тыл. На перекладных – телегах и подводах, в полупторках и вагонах, через леса и мрачные, обугленные деревни, через города и степи. Она – обессиленная – лежала на жесткой скамье поезда, а перед глазами у нее качалось черное, распухшее лицо матери с приоткрытым ртом, шевелящимся от мух на жарком украинском солнце.

Такую – худую и почти неподвижную, с провалившимися глазами и бескровными губами на белом лице, – ее забрал к себе прямо на ташкентском перроне Максуд.

Боря боготворил Галинку. Ни с кем из своих братьев и сестер он не был настолько близок и дружен. Он ходил за ней по пятам, боясь остаться без нее даже на минуту, заворуженно смотрел в ее восхитительные глаза-солнца, слушал ее веселое щебетание или строгие нравовучения с одинаковым трепетом и восторгом. Впервые в жизни он чувствовал себя счастливым.

Галинка охотно возилась со своим новым братишкой, рассказывала ему сказки и безыскусные истории с хорошим концом, которые сама слышала или читала в теперь уже таком далеком детстве. Иногда она пела ему грустные, длинные, как степь, украинские песни и всякий раз, оборвавшись на полуслове, закрывала лицо ладонями. Боря опускал глаза и вежливо молчал, словно знал и понимал то, что ребенок в его возрасте попросту не мог понимать.

Именно Галинка взялась обучать Бориса грамоте. Она нередко брала мальчика с собой на работу в госпиталь и в перерывах между процедурами и обходами доставала старые газеты, чудом не растасканные на самокрутки, и выводила на узких полях ровные, аккуратные буквы и слоги. Маленький Боря все схватывал на лету. Его глаза светились неподдельной радостью, когда ему удавалось выстроить буквы в слова, а слова – в короткие предложения, и он шептал просительно:

– Еще... еще...

Галинка смеялась и трепала ему волосы:

– Ты у меня молодец!

Однажды после таких занятий, когда она рассказывала Борису добрую и красивую историю про сказочного принца и заколдованную принцессу, он вдруг встал с табурета, подошел вплотную к сестре, сжал ладонями ее щеки и, глядя в глаза, сказал тихо:

– Я люблю тебя, Галинка... *Я женюсь на тебе...*

Большой семье Максуда жилось нелегко. По трудовым карточкам, которые получали сам Максуд, двое его старших сыновей и Галинка, отпускали килограмм хлеба на всех, немного крупы, пшена, масла и консервов. Раз в неделю Бориса ставили в длинную, молчаливую очередь за водой, где он стоял по шесть часов кряду, пока не приходил отец с Ринатом сменить его у самой раздачи.

Чтобы прокормить семью, Максуд работал с раннего утра до поздней ночи в строительной артели. Дома он плотничал и много возился на земле. В небольшом саду Максуда росли абрикосы и виноград. До появления Бориса он держал овцу по имени Лола.

Когда закончилась война и в Ташкент стали возвращаться фронтовики, а помещения города – освобождаться от тесноты эвакуации, семье Максуда дали квартиру в Новом городе. Это были просторные хоромы, состоящие из четырех комнат на третьем этаже прекрасного кирпичного дома. Коридорная система. С водопроводом и общей уборной на этаже. Переезжали с радостью и тихой грустью. Новое жилье было гораздо просторнее и удобнее предыдущего, но всем было жаль оставлять свой старенький, низенький дом с земляной крышей, просеянной травой и алыми маками, свой небольшой, но такой щедрый сад, в котором круглый год что-то цвело и плодоносило, землю, которой почти суверенно дорожит любой дехканин.

Борис радовался вместе со всеми. Он бегал из комнаты в комнату, играя с братьями и, конечно, не мог даже догадываться, что этот счастливый переезд в очень скором времени окажется косвенной причиной того, что он навсегда потеряет свою семью – людей, которых успел полюбить всем своим детским сердцем, с которыми он впервые в жизни был счастлив.

К семи годам Боря Григорьев уже умел бегло читать и писать. Он рос тихим, немногословным и послушным мальчиком. Жильцы шумного, многосемейного этажа дали ему прозвище Граф. То ли за манеру серьезно и рассудительно относиться ко всему, даже к пустякам, то ли за горделивую осанку и неспешность движений. А скорее всего – за почти аристократические черты лица. Волнистые темные волосы и огромные глаза подчеркивали его неестественную бледность. Чуть заостренный нос и упрямые губы выдавали, возможно, характер его властолюбивых предков. Но сам Боря был скорее застенчив и робок. Он выделялся среди своих сверстников высоким ростом, а может быть, это только казалось всем из-за его необычайной худобы. Даже общаясь со знакомыми людьми, Борис прятал руки, стесняясь своего изъяна. Он засовывал кривую ладошку глубоко в карман и когда шел по улице, и когда просто стоял в задумчивости у окна или ждал в коридоре своей очереди в уборную.

Бориса коротко стригли каждый месяц у дворового цирюльника, но волосы отрастали с удивительной быстротой, и уже через три недели их приходилось зачесывать за уши.

Обучение в школах начиналось только с восьми лет, поэтому все свободное от работы по дому время Боря проводил с книжками и с Галинкой. Она по-прежнему работала в больнице и все так же нередко брала младшего брата с собой на дежурства. Он сидел в ночной тишине пустынного коридора, подобрав под себя ноги, шурша затертыми страницами взрослых книжек из скудной больничной библиотеки при свете настольной лампы.

Однажды пожилой врач, проходя мимо притихшего за столом мальчика, погладил его по голове и поинтересовался, что он читает с таким интересом. Боря, не поднимая головы, смущенно промолчал в ответ и неловко потер здоровой рукой затекшие от долгого сидения коленки. Доктор осторожно прикрыл книгу, лежащую на столе, и прочитал название – «Любовь и кинжал».

– Ты читаешь взрослые книжки? – удивился он. – М-м-м... Ну и как? Интересно?

Боря кивнул, не поднимая глаз.

– А что именно интересно? – не унимался врач. – Мне, например, в твоём возрасте нравилось читать о приключениях и о сильных людях. Разве ты не хочешь стать сильным человеком?

– Хочу, – еле слышно ответил мальчик.

– А ты знаешь, что делает людей сильными и бесстрашными?

– Знаю. – Боря вдруг поднял голову и посмотрел доктору прямо в глаза. – Любовь...

Доктор открыл было рот, чтобы что-то сказать, как вдруг мальчик добавил пронзительным шепотом:

– ... и *кинжал*.

На тридцатую годовщину Великого Октября Боря неожиданно получил роскошный подарок. Жильцы многокомнатного этажа собрались за длиннющим столом, выставленным прямо в коридоре. Пили, шутили, смеялись и плакали. Пели песни под хриплые звуки старого аккордеона.

Один из жильцов – дядя Паша – мужчина лет сорока в черном пиджаке, на лацкане которого красовался орден Отечественной войны, поманил Борю пальцем. Дяде Паше нравился этот серьезный, немногословный мальчуган, стеснительно прятывший от окружающих свою изувеченную ладошку.

– Не робей, парень, – говорил он ему. – Ты с меня бери пример. Я-то ведь не стесняюсь! – И дядя Паша демонстрировал Боре свой пустой рукав, аккуратно заправленный в карман пиджака. – Смотри людям прямо в глаза и не позволяй никому себя жалеть. Иначе – хана. Верно тебе говорю: позволишь другим жалеть себя – начнешь и сам жалеть себя. И тогда – утопишь жизнь в соплях...

В разгар застолья дядя Паша позвал к себе Бориса, извлек из внутреннего кармана нечто, свернутое в трубку, и протянул ему:

– Держи, Граф! Это тебе. С праздником, парень! Учись, будь грамотным. И будь счастливым. Может, станешь писателем и напишешь про нас про всех. – Он задумался на секунду. – Нет, про нас не пиши. Пиши про себя и про детей своих. Про новую жизнь.

Борис развернул сверток и обомлел. Ему подарили настоящую, взрослую, толстую тетрадь в клеенчатом переплете. Такой не было ни у кого из его знакомых. Даже у тех, кто учился в школе.

Если бы знал дядя Паша, насколько он угадал! Спустя годы очень многие люди желали узнать, *что написано* в этой обычной клеенчатой тетради.

По воскресеньям все жильцы дома уходили мыться в баню. Шли через весь город со своими тазами, занимали две очереди и часами сидели на ноябрьском солнце, радуясь выходному дню и возможности пообщаться и наговориться всласть. Вечером женщины устраивали большую стирку на кухне. Мокрое белье развешивали прямо во дворе дома на многочисленных веревках, натянутых между деревянными почерневшими столбами.

Галинка с Ингой обстирывали своих мужчин, беззлобно переругивались и зубоскалили с соседками, а потом тащили тазы с горами сырого белья на улицу.

Вернувшись в очередной раз за новой партией грязных вещей, Галинка обнаружила в штанах Бориса ту самую, свернутую в трубку тетрадь в клеенчатой обложке. Не раз она видела, как мальчик что-то пишет в ней, пристроившись на подоконнике или на подушке под одеялом, отгородившись от всего мира застенчивым и таинственным молчанием. Галинке было досадно, что даже ей – любимой сестре – Боря не доверял свою тайну.

Сгорая от любопытства, она открыла первую страницу и сразу прочитала аккуратно выведенный карандашом заголовок: «*ГАЛИНКА. РАЗКАЗ*».

Девушка улыбнулась: так вот почему братишка скрывал от нее свою тетрадь! Этот рассказ – про нее! И посвящен – ей. Галинка просияла. Она огляделась по сторонам и села на край табурета. Ей было неловко воровать у Бориса его маленькую тайну, но в конце-концов,

рассуждала она, этот «разказ» касается только меня, значит мне – можно прочесть. К тому же братишка такой стеснительный, что вряд ли сам решится предложить мне это.

«Моя Галинка самая лучшая в мире, – разноразмерные буквы, вырисованные облизанным химическим карандашом, смущенно толкались на тетрадном листе, неловко налезали одна на другую и кокетливо разбегались в стороны. – Она еще самая красивая в мире моя Галинка. Я стою на улице и смотрю на нее. Мне очень хочется плакать но я не умею плакать. Так жалко. Лучше чтобы я умел плакать. Она стоит у окна и говорит что-то мне. Она зовет меня. Но я не слышу что она говорит. Я только вижу что она очень красивая и она в одном халатике из больницы. Она совсем голая только в халатике и все. А я стою на улице не слышу что она говорит мне и мне хочется плакать и кричать. А на улице поднимается свет от земли. Он такой страшный хотя и волшебный. Я слышу гром. А Галинку не слышу. И я хочу к ней. Но мне нельзя к ней. Я ее потерял. Но мы все равно когда-то будем вместе!»

Галинка поспешно захлопнула тетрадь и огляделась, словно кто-то мог подглядеть из-за ее плеча эту нарисованную чернильным карандашом маленькую тайну совсем не маленькой любви.

– Вот бесстыдник... – прошептала она и покраснела. Потом провела ладонью по теплой клеенчатой обложке, свернула тетрадь в трубочку и засунула обратно в карман штанов. Поколебавшись, она отнесла штаны в комнату и положила на стул.

«Боренька, ты забыл отдать их в стирку».

Спустя полчаса на кухню влетел раскрасневшийся Борис:

– Галинка, ты уже постирала мои брюки?

– Не помню, чтобы они мне попадались. Скорее всего, ты мне их не отдавал. Посмотри получше.

Глава 4

Приблизительно через месяц после Нового года за нехитрым обедом, который проходил в традиционной тишине, Галинка, вдруг что-то вспомнив, оторвалась от тарелки:

– Знаете, кого нам положили в девятую палату? Бабушку Назиму!

За столом мгновенно прекратился стук ложек. Все вопросительно и даже с испугом уставились на сестру.

Бабушка Назима была хорошо известна в Ташкенте и далеко за его пределами. Про нее ходили жуткие легенды, о ней рассказывали всевозможные небылицы, а дети пугали друг друга страшилками, в которых неизменно фигурировало имя бабушки Назимы.

Старики уверяли, что в молодости были знакомы с очаровательной девушкой из дальнего аула и все как один добивались ее руки. Но своенравная красавица предпочла всем пожилого иранца – вдовца, имевшего прекрасный дом, поголовье скота и бескрайние плантации хлопчатника. О странностях этого выбора судачили еще и потому, что внезапно скончавшаяся первая жена иранца была моложе его на двадцать пять лет. Цветущая женщина вдруг в один день слегла в постель, а через неделю умерла в жутких судорогах. Говаривали, что на смертном одре она, сплевывая пену и смотря невидящими глазами в потолок, шептала:

– Змея! Змея погубила меня!

Врач уверял безутешного мужа, что никаких следов змеиного укуса на теле женщины не было. Но и дать хоть сколько-нибудь вразумительного объяснения ее смерти доктор не смог. Молодая женщина ушла из жизни, не успев родить иранцу наследника.

Траур был недолгим. Спустя неделю после похорон в цветущем саду вдовца появилась девушка невиданной красоты. Пожилой мужчина принимал ванну в мраморной купальне прямо под ветвистым персиковым деревом. Увидев красавицу, он обомлел: она словно сошла по солнечному лучу – была невесома, прекрасна и загадочна. Скинув с себя воздушное покрывало, она стояла перед ним нагая и желанная, держа в ладони розовый персик. Иранец не мог вымолвить ни слова. Он лежал в купальне и во все глаза смотрел на волшебную диву. Сочный фрукт оказался прямо перед его губами, и он, как замороженный, надкусил персик, чувствуя, как сок стекает по подбородку, щекоча шею, грудь, живот. Или это был не сок, а рука прекрасной незнакомки – невесома и нежная – ушедшая под воду, как гибкая и юркая змейка. Она проползла по всему телу мужчины, задержалась в паху, и вдовец почувствовал, как сладкий водоворот закружил его сознание. Солнце стало ярче. Оно заполнило собой все вокруг, растворив в ярком мареве и небо, и деревья, и девушку, разлилось жаркой, обжигающей волной и лопнуло сладким взрывом.

На следующий день заинтригованный мужчина выяснил, что девушка – самая что ни на есть земная. Живет она в соседнем ауле, и зовут ее Назима. Он, не раздумывая, пришел к ее родителям, заплатил калым, и через месяц сыграли свадьбу.

Иранец не мог нарадоваться на новую жену. Она дарила ему удовольствия, о которых он не мог даже мечтать. Ему казалось, что он помолодел на тридцать лет. И лишь одно огорчало – девушка все никак не могла забеременеть. Пожилой мужчина всем сердцем хотел наследника.

– Джаном, – шептал он ей, задыхаясь в упоительных ласках, – роди мне йигита. Роди мужчину, хозяина, которому я мог бы передать и свое богатство, и свою мудрость...

– Я все сделаю, мой господин, – отвечала она жарко, покусывая его за мочку уха. – Тебе не о чем волноваться. Ты еще молод и полон сил...

И она вновь и вновь доказывала ему это.

Однако время шло, а упругий и красивый живот Назимы и не думал округляться. Зато молодая жена иранца постепенно стала полновластной хозяйкой всех его имений. Казалось,

она упивалась не столько роскошью, сколько властью над людьми, которую давало богатство. Она чувствовала себя царицей из волшебной восточной сказки.

Чем больше крепло в Назиме сознание собственного могущества, тем мрачнее и угрюмее становился ее муж.

– У меня нет больше времени, – сказал он ей однажды утром, наблюдая с остывающим интересом, как жена обмывает водой из кувшина свои великолепные груди с торчащими сосками, которые не потеряли упругости и манящей красоты, потому что никогда не вскармливали дитя. – Если ты не родишь мне наследника, я возьму вторую жену.

Спустя три дня после этой угрозы иранец испуганно жаловался свахе:

– Я ее боюсь... Я не знаю, что со мной. Когда смотрю в ее глаза, мне становится холодно от ужаса. И я... Я перестал быть мужчиной.

– Ты боишься собственную жену? – насмешливо переспрашивала старая сваха.

– Не зубоскаль, женщина. Не знаешь, о чем спрашиваешь. Я вдруг почувствовал, что моя Назима мне не принадлежит... Что она сильнее меня.

– Что тебя мучает? Чего ты опасаться?

– Мне приснился сон. Скажи мне, что он значит. Я лежал на спине совершенно голый, а по мне ползла змея. Я не мог ее сбросить, потому что она доставляла мне удовольствие своим телом. Она мне показывала, что я – мужчина. Она извивалась и терлась об меня. Но потом... Потом она свернулась у меня на груди, и мне стало тяжело дышать... Я задышался.

– Она укусила тебя?

– Я не знаю... Не помню. Кажется, да. Сердцу стало так больно.

– Тебе нужна другая жена. Я помогу.

Но сваха не успела помочь. На следующий день иранец подавился скользкой косточкой абрикоса. Он упал на пол, увлекая за собой шелковую скатерть со стола, хрипя и царапая грудь. В комнате никого не было, некому было поспешить на помощь задыхающемуся хозяину. Никто не услышал и его последнего хриплого стога:

– Змея...

Через неделю после пышных похорон в город приехал из Бухары младший брат иранца. Это был настоящий красавец – высокий, стройный юноша с длинными черными волосами, тонким носом и волевым подбородком. Ему не было еще и двадцати. Он вошел в комнату Назимы и заявил с порога:

– Я пришел восстановить семя брату моему. Таков обычай. Ты теперь моя жена.

Назима встала с кровати, и юноша отметил про себя, что она красавица.

– Да, мой господин, – прошептала женщина, обвив руками его шею и склонившись ему на грудь.

В ту же ночь молодой наследник испытал блаженство, которого не ведал ранее ни с одной женщиной. Новая жена словно угадывала каждое его желание, опережала каждое его движение. Начала она с того, что приготовила для нового мужа ароматную ванну в мраморной купальне прямо в саду. Она не спеша омывала все его тело – от смуглых, гладких плечей до кончиков пальцев на ногах. Он лежал в купальне и чувствовал, как желание переполняет все его существо, накатывает жаркой, душистой волной и растекается по всему телу, заставляя дрожать руки и колени в сладком вожделении. Он привлек ее прямо в купальне, не в силах сдерживать свои чувства, и вода, взволнованная их страстью, пахнувшая шафраном и розой, переплескивалась через мраморные края, падала тяжелыми осколками на землю и тут же впитывалась ею с жадностью и таким же вожделением.

Потом они любили друг друга в спальне, на ворсистом египетском ковре, распластанном на полу.

Наутро, свежий и бодрый, молодой наследник вышел на улицу и, щурясь теплему солнцу, обратился к седобородому горожанину:

– Скажите, уважаемый, как мне добраться до лучшего базара, чтобы купить жене шелка и смирны?

– Это несложно, ака⁷, – отвечал, поклонившись, горожанин. – Вон за теми минаретами есть прекрасный базар, где вы сможете купить все, что вам заблагорассудится.

«Ака?! Старик, верно, выжил из ума», – решил юноша и кивнул горожанину в знак благодарности и того, что разговор закончен. Но дехканин продолжал, желая, видимо, сделать приятное своему новому богатому соседу:

– Весь город завидует вам, ака... Знатное наследство, молодая красавица-жена...

«Да она старше меня! – чуть не вырвалось у юноши. Он развернулся и поспешно ушел обратно в глубь сада. – Странный старик...»

От утреннего настроения не осталось и следа. Юноша вдруг почувствовал ярость. Как же легко завистникам бросить ложку дегтя в бочку с медом. Ему ведь только что намекнули на то, что его жена слишком стара для него! Ей ведь уже за двадцать!

Он остановился перед мраморной купальней в саду. Воспоминания этой дивной ночи нахлынули на него, он представил руки Назимы, ее восхитительную грудь, ее округлые бедра, гладкую кожу. И вновь почувствовал желание. Вода в купальне все еще сохраняла волнующие ароматы. Юноша наклонился, зачерпнул ее ладонью и поднес к губам. В то же мгновение он вскрикнул, словно увидел змею. Рука скользнула по мрамору, и он, потеряв равновесие, упал грудью на холодный край ванны, во все глаза таращась на пахнущую шафраном и розами воду. Из купальни, как из зеркала, на него с ужасом смотрел дряхлый старик с лицом, покрытым морщинами, с длинными седыми волосами и изрытым оспой крючкообразным носом.

Через неделю молодой наследник умер. От старости.

На его могиле очень скоро появилось бронзовое украшение в виде змеи, обвивающей сухое, но еще зеленое дерево.

С этих пор за молодой вдовой закрепилась зловеющая и страшная слава. Старики уверяли, что на ней лежит проклятие, снять которое не под силу даже очень могущественному человеку. Женщины одновременно ненавидели ее и завидовали ей.

– Сначала соперницу сгубила, – шепотом злословили они, собираясь у арыка или на городской площади. – Потом двух мужей... И все из-за богатства. Ведьма!

– А вы слышали, что тому старику – ее последнему мужу – на самом деле не было и двадцати?

– Заколдовала!

– Говорят, она спит с открытыми глазами. Как змея.

– Я же говорю: ведьма!

Юноши обходили ее дом стороной, суеверно втягивая головы в плечи. Но никто из них не мог отказать себе в удовольствии полюбоваться ее красотой, когда она появлялась на людях – стройная, женственная и невыразимо печальная.

Между тем чуть ли не каждый год находились смельчаки, пытающиеся завоевать сердце «черной вдовы».

– Может, она и ведьма, – рассуждали они, – но уж больно хороша! И богата...

Но зловеющая красавица оставалась неприступной.

Шли годы. Жизнь таинственной вдовы по-прежнему была для всех загадкой и поводом для леденящих душу домыслов. Она редко выходила в город. Никто не знал о ней почти ничего. Ходили слухи, что ее родители умерли в нищете в том самом ауле, из которого она пришла к пожилому иранцу. Говаривали, будто каждую ночь в ее доме – новый мужчина.

⁷ Ака – уважительное обращение к старшему по возрасту (узб.).

- Она их заколдовывает лаской, дурманит страстью своею, а наутро они исчезают бесследно. Ни один не спасся!
- Одного нашли все-таки! В поле...
- Того, что уснул в маках?
- Не уснул. Его уже мертвого в поле привезли и бросили. Говорят, что вся грудь у него была, словно в чешуе.
- Словно кожа змеиная.
- Ведьма!

Все изменилось с приходом в Туркестан советской власти. У «черной вдовы» отобрали все ее богатство, экспроприировали роскошный дом, которому завидовали горожане и жители окрестных селений, но саму женщину не тронули. Она перебралась в аул, откуда была родом, и продолжала вести жизнь, неприметную чужому глазу и все так же покрытую завесой мрачной таинственности.

Никто не знал ее возраста. По всем подсчетам выходило, что ей давно уже за сорок, но вдова выглядела все такой же красавицей, леденящей душу своей колдовской красотой, какой она впервые вошла в сад несчастного иранца.

Однажды в доме «черной вдовы» появились гости. Два красноармейца сопровождали высокого темноволосого мужчину, одетого в строгий льняной костюм-тройку с черной кожаной папкой под мышкой.

– Я слушаю тебя, мой господин, – сказала ему на фарси Назима, сверкая прекрасными глазами и обнажая в улыбке ряд белоснежных, ровных зубов.

– Ко мне следует обращаться «товарищ», – строго поправил ее пришедший.

– Апа дебайт⁸. – Вдова смотрела ему прямо в глаза, и начальник почувствовал легкую холодную дрожь, пробежавшую по его телу. Но он быстро взял себя в руки и продолжал:

– Нам нужна ваша помощь, апа. Советская власть, как вы знаете, нещадно борется с суевериями и другими темными пережитками запуганных и угнетенных жителей Туркестана. Про вас ходят разные слухи и рассказывают всякие небывлицы...

Пришедший откашлялся, наблюдая за реакцией женщины на эти слова. Но ее лицо осталось непроницаемым, а на губах по-прежнему играла ослепительная, вежливая улыбка.

– Другими словами, – продолжал мужчина, – рассказывают всякую чушь и запугивают трудящихся разной мистикой... Так вот, мы хотим с вашей помощью развеять нелепые слухи и побороть дремучесть отсталых слоев населения.

– Что же вы от меня хотите?

– Вам нужно... выйти замуж, – неожиданно просто ответил гость. – За трудящегося Красного Востока. Создать семью, которую можно было бы ставить в пример всем сомневающимся.

Черные глаза Назимы расширились, и она вдруг расхохоталась.

– Достойных людей у нас много, – ничуть не смущаясь ее реакцией, продолжал мужчина. – Вы можете взять в мужья дехканина или красноармейца, учителя или агронома...

– Вот и женись на мне, мой товарищ, – перебила Назима с жаром и неожиданно ухватила пальцы гостя своей ладонью.

Мужчина вежливо высвободил руку и опять откашлялся:

– Мне лестно ваше внимание, апа. Вы красивы и можете осчастливить любого достойного человека. А я... Я уже женат. И счастлив в браке. Моя жена...

– Ее зовут Гульбахор? – быстро спросила женщина.

– Да, – растерянно ответил гость. – А откуда вы...

– Посмотри на меня, мой товарищ! Разве я не лучше? Разве не красивее?

⁸ Апаудебайт – Называй меня сестрой (*искаж. тюрк.*).

Мужчина почувствовал, что начинает злиться. Он взял папку со стола, сунул ее под мышку и направился к дверям. У порога он обернулся.

– Подумайте над тем, что я вам сказал, апа... Подумайте.

– И ты подумай над тем, что я сказала, мой товарищ, – ответила Назима. Улыбка исчезла с ее лица, а глаза вдруг стали еще чернее. – Приходи ко мне сразу после похорон. Я буду ждать тебя. Ты испытываешь со мной блаженство, о котором даже не смел мечтать.

Мужчина секунду помедлил, словно соображая, что ответить, потом надел кепку и быстро вышел. За ним, ухмыляясь, покинули дом и красноармейцы.

Как-то ночью, спустя неделю после этого возмутительного разговора, мужчина ласкал в постели свою жену Гульбахор. Он облизывал ее соски, шею, щекотал языком ухо, как вдруг почувствовал, что жена перестала отвечать на его ласки. Она уперлась обеими руками ему в грудь и застыла в испуге, пытаясь разглядеть что-то в его лице.

– Что с тобой, джаном? – спросил муж, переводя дыхание.

– Язык! – выдохнула она и еще сильнее уперлась ему в грудь кулаками. – Что с твоим языком?!

– А что такое? – не понял мужчина. – Тебе не нравятся мои поцелуи?

Он игриво высунул язык и вновь попытался приласкать жену. Но она закричала в ужасе, дернулась всем телом, высвобождаясь из его объятий, и, скатившись с постели на пол, судорожно переползла в другой конец комнаты. Ничего не понимая, охваченный страхом мужчина вскочил с кровати:

– Да что с тобой?!

Голая женщина сидела на полу и испуганно жалась спиной к ножке стола. Она в ужасе тарасилась на мужа и едва могла говорить.

– Твой язык... Он... Он – как у змеи! Он тонкий, длинный и раздваивается на самом кончике!

Мужчина почувствовал приступ бешенства.

– Что ты болтаешь, несчастная?! Ты сошла с ума?

Он попытался подхватить женщину под руки, но она забилась в истерике:

– П-пусти меня! Помогите!

Ему требовалось больших усилий, чтобы удержать жену. Она вывернулась из его объятий и опять соскользнула вниз, увлекая со стола скатерть. С гулким стуком на пол посыпались коробочки из папье-маше, чернильница с перьями, мраморный бюстик Маркса и стальные длинные ножницы. Женщина схватила их и в отчаянии вонзила в ногу разъяренному мужу. Он взвыл от боли и ударил ее кулаком в лицо. Гульбахор упала навзничь, не выпуская ножниц из рук.

– Дура! – орал он, корчась посреди комнаты.

Из рваной раны хлестала кровь. Мужчина шумно опустился на пол, подвывая и матерясь.

– Сумасшедшая!

Но женщине словно придали сил. Она вскочила на ноги и бросилась на мужа, норовя ударить его ножницами в лицо. Он отпрянул назад и обеими ногами оттолкнул от себя обезумевшую жену. Гульбахор упала, громко стукнувшись головой об пол. Вскрикнула и затихла.

Первые рассветные лучи, несмело раздвинувшие застиранные занавески, скользнули по остывающему голому женскому телу, лизнули черную лужу на полу и отпрянули испуганно от мраморного бюстика Маркса, торчащего из пробитого виска.

Мужчина был безутешен. Сразу после похорон он закрылся в доме и пил несколько дней кряду в полном одиночестве. По ночам в тревожной тишине, дрожащей в белом свете огромной луны, до соседей доносились его сдавленные рыдания.

Утром пятого дня он побрился, надел свой льняной костюм-тройку, зарядил маузер и отправился в аул к дому «черной вдовы». Он постучался в ее дверь, сняв оружие с предохранителя и направив ствол прямо перед собой. Когда Назима появилась на пороге, холодная сталь уперлась ей в лоб. Огромные черные глаза не выразили ни испуга, ни удивления. Она обнажила белоснежные зубы и произнесла спокойно:

– Проходи, мой господин. Отныне ты – дома...

Они расписались через неделю в Городском совете.

Очень скоро молодая семья поселилась в бывшем доме иранца, отобранном у Назимы новой властью и этой же властью возвращенном. Должность мужа предполагала хорошие условия жизни. Прежние соседи опять смотрели на «черную вдову» с ненавистью и завистью.

– Не пропадет в жизни! При всех властях устроилась!

– А новый муж-то, слышали, свою прежнюю зарезал! Или задушил!

– Да нет! Говорят, она покончила с собой...

– А сколько лет этой Назиме?

– Да уж скоро полвека, наверно.

– Женщины! Она ведь не стареет совсем!

– Ведьма!

А «черная вдова» стала постепенно выходить в свет. Она появлялась с начальственным мужем почти на всех торжественных мероприятиях. Ее черные глаза сверкали на банкетах и митингах. Она присутствовала на открытии музеев и институтов, на закладке первого камня строительства авиационного завода, про нее шептались за спинами хлопкоробов и заводчиков племенных жеребцов.

Однажды вечером, вернувшись с очередного заседания, на котором утверждали план мероприятий по празднованию 10-летия Советского Туркестана, уставшие супруги, даже не поужинав, стали готовиться ко сну. Назима разбирала постель, а муж вышел в сад покурить. Вдруг в темноте между деревьями он заметил чью-то фигуру. Какой-то человек стоял возле мраморной купальни и пристально смотрел на дом.

– Кто здесь? – с начальственными нотками в голосе спросил мужчина и отбросил папиросу.

Странная фигура не двинулась с места. Она лишь повернула голову на голос и осталась недвижимой. Мужчина сделал несколько шагов в глубь сада и остановился в нерешительности. Станный холодок пробежал между лопатками. Теперь он отчетливо видел силуэт незнакомца, застывшего возле купальни, и ему почудилось что-то знакомое в фигуре ночного гостя.

– Что вам нужно? – крикнул мужчина и машинально потянулся к боковому карману.

Незнакомец сделал, наконец, шаг в сторону дома, и слабая луна выхватила из темноты черный платок и длинное, тяжелое платье. Женщина протянула руку и поманила мужчину к себе. Но тот буквально окаменел от ужаса. Он хватал воздух ртом, словно шершавые сумерки царапали ему легкие, и во все глаза таращился в темноту сада.

– Гульбахор? – прохрипел он. – Ты? Зачем?

Женщина опять поманила его рукой, потом неспешно повернулась и двинулась в тревожную глубину ночи. Складки ее платья шевельнулись с громким шорохом, и деревья сада вздрогнули от внезапного порыва ветра. Мужчина пошатнулся, ухватился обеими руками за ствол молодого кипариса, боясь потерять сознание, и как загипнотизированный смотрел на удаляющуюся фигуру своей первой жены. Ему было страшно вновь произнести ее имя.

В ту же секунду огненные дрожащие змейки стремительно поползли со всех концов двора к дому. Почти одновременно эти горящие ручейки ткнулись в стену фасада – и её охватило ослепительным пламенем. С трудом соображая, что происходит, мужчина глядел на плавно взлетающий в тысячезвездное от раскаленных искр, багровое небо столб пламени. Жар гигант-

ского костра ударил ему в лицо. В одно мгновение дом исчез в пламени, жадно пожирающем его со всех сторон. Охваченный ужасом, мужчина ринулся в сад, туда, где исчезла фигура его ночной гостьи, потом остановился, тяжело дыша и глядя перед собой ослепшими глазами, попятился, как пьяный, и бросился обратно – к горящему дому. Не останавливаясь, движимый неведомой силой, он нырнул в стену огня и вспыхнул как факел. Последнее, что он почувствовал перед тем, как провалиться в черную пустоту, – это раскаленную и липкую, как кровь, змею, вползающую в сердце.

На второй день сгоревших заживо Назиму и ее мужа – большого советского начальника – похоронили на старом городском кладбище под хриплые, утробные звуки духового оркестра. Хоронить, по сути, было нечего. Дом сгорел дотла, словно был сделан из картона. Прибывшие пожарные только рты разинули. Поэтому в два новеньких гроба бросили лишь по горстке пепла, обтянули их пурпурным сукном и наглухо заколотили гвоздями.

- Вот и конец ведьме пришел!
- Слыхали, говорят, это был поджог!
- Чем-то непонятным дом облили. Камни горели, как солома!
- А в саду-то... В саду нашли ожерелье его первой супруги убиенной!
- Ни дать ни взять – с того света отомстила!
- Тоже – ведьма!

Еще месяц в городе обсуждали на все лады это страшное и таинственное происшествие. А когда слухи и пересуды пошли на убыль, когда не только горожане, но даже бывшие соседи погорельцев перестали содрогаться от жутких воспоминаний, в том самом ауле, где когда-то жила Назима, в ее прежнем доме появилась неизвестная старуха. Одним своим видом она наводила ужас на односельчан: сухое, согбенное тело с огромными, как два горба, торчащими лопатками, обвисшие, как пакля, седые волосы и страшное, изрытое оспой, обожженное лицо. Один глаз вытек, и на его месте пузырилась яйцом неестественно белая кожа. Другой был на месте, но не закрывался никогда, потому что отсутствовало веко. Впрочем, и этим, единственным, глазом старуха не видела. Однако каким-то непостижимым образом она угадывала все, что происходило вокруг нее и даже далеко за пределами аула. Она знала по именам всех односельчан и нередко пугала их своей страшной пронизательностью:

– Здравствуй, Шавкат! Что же ты не здороваешься? Так торопись сообщить семье, что получил работу на моторно-тракторной станции?

Обескураженный Шавкат останавливался на дороге как вкопанный и в изумлении шевелил губами, теребя в руках листок бумаги с печатью МТС.

– А вот и Юсуп! – продолжала старуха, вскидывая сухую руку с клюкой. – Он еще не знает, что завтра у него родится дочь. Шестая в семье.

Через минуту из-за дувала появлялся Юсуп, ведущий на привязи молодого ослика.

– Юсуп! Поспешай! Лазиза должна вот-вот родить!

Он махал рукой:

– Еще не срок! В конце месяца только...

Но на следующий день безутешный Юсуп шатался по селению без ослика:

– Опять дочь! Шестая. Ни одного йигита в семье!

В другой раз старуха приветствовала пожилого дехканина:

– Мираншах! Ты уже не хочешь жениться на мне? Я уже не хороша для тебя?

Мужчина пятился в растерянности и во все глаза тарачился на уродливую соседку. А та продолжала ехидно:

– Ну что ж... Насильно милой не будешь! Ты как был дураком, так и остался. Может, в тюрьме поумнеешь!

Никто уже не удивлялся, когда за Мираншахом приехала машина с брезентовым верхом и два милиционера увезли его в город.

– Перед войной выпускают, – витийствовала слепая, успокаивая рыдающих родственников арестованного дехканина. – Но с войны уже не вернется...

В ауле дом старухи опять стали обходить стороной. Ее боялись. Ею пугали детей.

– Это Назима! – шептались женщины. – Она ожила!

– Точно – она! И в огне не сгинула!

– Ведьма!

Даже районному начальству и милиции не был чужд суеверный ужас. Несколько раз местные власти намеревались нанести визит страшной старухе. Но еще не поросшие мхом воспоминания об их предшественнике, навестившем однажды этот дом в сопровождении вооруженных красноармейцев, убившем после этого свою жену, а затем сторовевшем заживо, останавливали даже отчаянных смельчаков.

Во время войны страх за родных и близких перевесил все другие страхи, и в дом Назимы стали время от времени наведываться отчаявшиеся женщины.

– Бабушка, – шептали они вкрадчиво, – скажи, как там мой?

– Скоро ли Хасан вернется? Не ранен он? Что-то весточек от него давно не было.

– Когда же войне конец, бабушка?

Старуха сверкала единственным немигающим глазом и пророчествовала:

– Живой... Но силу его мужскую осколок забрал. Вернется – на ласку горячую не надейся.

– Герой, герой Хасан твой. Ранен был пустяково. Уже зажило все. Сейчас пока в тылу девок белокожих полюбливает.

– Еще три длиннющих года... И еще четыре нескончаемых месяца к ним. А аукаться еще дольше будет. Половина мужиков – на том свете!

Никто и никогда не радовался ее пророчествам. Ведьма – она ведьма и есть...

– Ведьма – она ведьма и есть, – хмуро проронил Максуд, когда Галинка за обедом ошеломила всех своей новостью. – Держись от нее подальше, девочка.

Дети переглянулись. Галинка положила ложку рядом с тарелкой и назидательно покачала головой:

– Стыдно во всякие глупости верить! Мракобесию разному. Папа, ты же коммунист, а рассуждаешь, как дремучий человек! Какая еще ведьма? Просто несчастная женщина. И совершенно больная. У нее все органы внутри болят. И сердце тоже. Если бы участковый не привез ее в больницу, она бы умерла уже несколько дней назад. И вообще: врач должен спасать любого человека – и плохого, и хорошего. Он для этого клятву Гиппократу дает!

Боря смотрел на Галинку с восхищением. Он любовался и гордился ею.

– Ешь! – Она придвинула к нему тарелку, потому что он, погруженный в свою влюбленность, даже перестал жевать.

– Галинка, – просительно замычал Борис, – когда ты меня возьмешь с собой на дежурство?

– Посмотрю на твое поведение, – с напускной строгостью ответила она.

– И все-таки, дочка... – вздохнул Максуд, – держись от нее подальше.

Глава 5

Весь февраль в Ташкенте шел снег. Один за другим вспыхивали и угасали короткие дни. Сыпались сливавшиеся в одну неделю. Наступивший 1948 год обещал быть трудным, но счастливым. Отменили ненавистные продуктовые карточки. Снижали цены.

Как это часто бывает в Узбекистане, весна наступила внезапно. На город обрушились солнце и ранний зной.

Нередко перед дежурством за Галинкой домой заходил молодой человек. Светловолосый, широкоплечий, он смущенно топтался в дверях, пока девушка собиралась на работу.

– Миша, не стой на пороге. Пройди в комнату, – щебетала она, поправляя перед зеркалом челку. – Через пять минут я буду готова.

Миша – молодой ординатор той самой больницы, в которой работала Галинка, – конфузливо улыбался, кивал, но в комнату не заходил. Он терпеливо ждал ее в дверях или в коридоре, где любопытные соседки беззастенчиво разглядывали его с ног до головы, а мужчины деловито «стреляли» у него «Казбек» из шикарной коробочки с красивым всадником на этикетке. Такие коробочки – только уже пустые – дарили Борису, и он складывал их на маленьком столике перед кроватью, всякий раз стараясь придумать им применение. В конце концов Боря раздаривал коробочки соседским мальчишкам или обменивал на огрызки чернильных карандашей. Интуитивно он чувствовал что-то враждебное в этих нарисованных всадниках, как что-то враждебное ему виделось в самом светловолосом, широкоплечем красавце Мише.

«Миша сказал...», «Миша считает...», «Мы с Мишей...» давно уже вытеснили из Галинкиного щебетания все ее привычные присказки, шутки и фразы.

– Расскажи мне что-нибудь, – просил ее Борис перед сном. – Какую-нибудь сказку. Или историю.

Галинка охотно присаживалась на кровать, лицо ее светлело, будто она вспоминала что-то необыкновенное, и начинала рассказывать:

– Ну, слушай... Однажды Миша пошел со своим студенческим приятелем на рыбалку. И с ними такая история приключилась!

Боря вздыхал, закрывал глаза и отворачивался к стене. Он не любил Мишу так же сильно, как сильно любил свою Галинку.

Поэтому он в нерешительности кусал ногти, когда сестра предложила ему пойти с ней на дежурство. Боря так ждал этого! Он истосковался по тем волшебным вечерам, когда они оставались с Галинкой совсем одни – вдвоем, среди пустынного и притихшего коридора больницы, за скрипучим столом, заставленным пузырьками и пластмассовыми стаканчиками с пилюлями. Но в дверях Галинку ждал светловолосый Миша. И Боря колебался.

– Ну что же ты? – улыбнулась сестра, поправляя воротничок на платье. – Идешь или нет?

– Иду, – сказал он и бросил быстрый взгляд на молодого человека в дверях. Тот широко и великодушно улыбался.

Вечер, как и следовало полагать, получился совсем не таким, каким он представлялся Борису в его бесконечных ожиданиях. Галинка была занята и ни минуты не смогла уделить брату. Она порхала из палаты в палату, надолго исчезала в процедурной, переносила из одного конца коридора в другой капельницы на длиннющих подставках и металлические, тревожно громыхающие чем-то, коробочки. А когда затихла вечерняя суета, она ушла в ординаторскую, оставив Бориса сидеть в коридоре на кожаном диванчике. Он расстроено листал потрепанную книжку без картинок и время от времени с надеждой поглядывал на белую дверь, за которой исчезла сестра.

В половине двенадцатого из дальней палаты в коридор вышла женщина. Она огляделась по сторонам и поспешно направилась к дежурному столику медсестры. Увидев лежащего с книжкой Бориса, она замешкалась и застыла перед диваном, словно что-то соображая. Мальчик на всякий случай сел, втянув голову в плечи и опустив ноги на холодный пол. Женщина буравила его взглядом, и Боря почувствовал легкий озноб. У нее было строгое, почти жестокое лицо с маленьким острым носиком и выпирающим вперед подбородком. Гладкие, иссиня-черные волосы были зачесаны назад и собраны в пучок. Женщина куталась в огромный атласный халат, полы которого при ходьбе волочились по полу. Она вынула руку из кармана и длинными, ледяными, как сосульки, пальцами приподняла за подбородок голову Бориса, всматриваясь в его лицо.

– Ты – Борис? – скорее подтвердила, чем спросила женщина.

Тот кивнул, чувствуя, что вот-вот начнет кричать и звать на помощь. Но в следующую секунду ужас заполнил его легкие и сковал горло так, что он не смог даже вскрикнуть: женщина без церемоний схватила его за руку – как стальной браслет надела – и вмиг стащила с дивана. Борис упирался, в страхе тарашась на выпирающий желтый подбородок, на острый, как клюв совы, носик, на тонкие бесцветные губы, за которыми посверкивал золотой зуб – словно сырая спичка, которую пытаются зажечь в темной комнате.

Женщина передвигалась по коридору с удивительной быстротой, шурша в тишине складками халата. Ноги Бориса скользили по полу, он в отчаянии, мысленно зывая о помощи, бросил взгляды на уплывающую в полумрак дверь ординаторской. Страшная незнакомка без труда дотащила упирающегося ребенка до самой дальней палаты, схватила его за шиворот и втокнула внутрь.

– Он еще сопротивляется! – шипела она. – Глупец! Тебя такой чести удостоили!

Боря опять попытался закричать, но теперь ему почудилось, будто холодная и тяжелая змея обвила его горло, царапая шею стальной чешуей. Он застыл в немом отчаянии, с ужасом уставившись на единственную в комнате кровать, застеленную (невероятно!) черным бельем. Холмик траурного одеяла, подоткнутого со всех сторон, скрывал чье-то неподвижное тело. В самом центре черной подушки, словно клякса разлитого кефира, белело безобразное сухое лицо, обрамленное облаком растрепанных седых волос. Один глаз, как перепонкой, был плотно затянут веком, второй немигающе смотрел куда-то поверх двери.

Боря дрожал всем телом. Колени ослабли, и он стоял на ногах, только удерживаемый хваткой и сильной рукой женщины в атласном халате. «*Бабушка Назима! Бабушка Назима!*» – пульсировало в висках.

На лбу выступили огромные, как бусины, капли пота. Он задыхался.

В страшной белой кляксе на подушке что-то щелкнуло и Боря увидел черную, сухую трещину, оказавшуюся ртом. Из этой трещины донесся дребезжащий, гортанный звук, и все та же рука в атласном рукаве подтолкнула мальчика к кровати.

– Подойди ближе! – услышал он над самым ухом. – Бабушка тебе хочет что-то сказать...

Боря повернул голову и умоляюще посмотрел на своего сурового конвоира:

– Мне?

Женщина выпрямилась и со значительностью в голосе пояснила:

– Бабушка проснулась и попросила меня выйти в коридор и привести к ней девятилетнего мальчика по имени Борис. – Она подняла указательный палец. – Бабушка сквозь стены видит. И все знает... Подойди же, глупый.

Не чувствуя себя от страха, Боря сделал шаг к кровати и оказался у самого изголовья. Он старался не смотреть на безобразное, обожженное лицо, казавшееся еще более страшным на черной, словно обугленной подушке.

Вновь прорезалась глубокая трещина, и Борис услышал все тот же дребезжащий звук, похожий на трение сухого дерева по металлу. Старуха говорила на непонятном языке, и каждое

слово ей давалось с трудом. Она делала над собой усилие, ворочая языком и тяжело переводя дыхание.

– *БАБУШКА ГОВОРИТ*, – услышал Боря свистящий шепот над самым ухом, – *ЧТО ТЫ БУДЕШЬ ТАКИМ ЖЕ НЕСЧАСТНЫМ, КАК ОНА. ТЫ БУДЕШЬ ГУБИТЬ БЛИЗКИХ И РОДНЫХ ЛЮДЕЙ СВОИМИ ПРОРОЧЕСТВАМИ И БУДЕШЬ СТРАДАТЬ ОТ ЭТОГО. ТЫ СТАНЕШЬ ВЕЛИКИМ ПИСАТЕЛЕМ, НО НИКТО НИКОГДА НЕ ПРОЧИТАЕТ НИ СТРОЧКИ ИЗ ТОБОЮ НАПИСАННОГО. А ЛЮДИ ПОСТАРАЮТСЯ ОГРАДИТЬСЯ ИЛИ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ТЕБЯ...*

Старуха замолчала на мгновение, облизала белые пересохшие губы, чуть повернула голову на подушке, отчего ее единственный глаз уставился мальчику в грудь, и продолжала:

– *БАБУШКА ГОВОРИТ, ЧТО ТВОЯ ЖИЗНЬ, ЖИЗНЬ ТВОИХ РОДИТЕЛЕЙ И ТВОЕГО СЫНА – ЭТО КОЛЬЦО, КРУГ. ОНА ПОХОЖА ВОТ НА ЭТО...*

Неожиданно зашевелилось черное одеяло, и из-под него показалась сухая и почти прозрачная рука страшной старухи. Женщина за спиной Бориса поспешно схватила с тумбочки карандаш и вложила его в белые, узловатые пальцы. Потом так же стремительно она выдернула бумажную салфетку из-под стакана, аккуратно разложила ее на одеяле и бережно перенесла старухину руку с карандашом на этот белый квадрат. Старуха на секунду замерла, словно мысленно примеряясь к своему рисунку, а потом дрожащим движением вывела на бумаге неровный круг. Снова помедлила – и начертила внутри круга жирный крест, похожий на кинжал с рукоятью.

Салфетка со странным рисунком перекочевала в руки Борису. Он стоял в изголовье старой ведьмы ни жив ни мертв, и бумажка дрожала в его пальцах.

– *БАБУШКА ГОВОРИТ*, – продолжала женщина, – *ЧТО ТЕБЕ НЕ ПОД СИЛУ РАЗОРВАТЬ ЭТОТ КРУГ. ТОЛЬКО КРЕСТ СМОЖЕТ СДЕЛАТЬ ЭТО! ИЩИ ЭТОТ КРЕСТ!*

Борис, широко раскрыв глаза, таращился на кинжал с рукоятью внутри неровного кольца и силился представить, как он своим длинным лезвием разрежет этот заколдованный круг. Мысли путались. Мальчик чувствовал, что силы вот-вот оставят его и он рухнет на пол прямо здесь, перед этой жуткой кроватью, застеленной черным бельем.

– *ОДИН КРЕСТ ОХРАНЯЕТ БОГАТСТВО, ДРУГОЙ ОТБИРАЕТ ЖИЗНИ*, – продолжала полоумная старуха. – *ТЫ НАЙДЕШЬ ОБА, НО КРУГ НЕ РАЗОРВЕШЬ. ТЫ НАЙДЕШЬ КЛЮЧ К СОКРОВИЩАМ И СТАНЕШЬ УБИЙЦЕЙ, А СУДЬБУ НЕ ИЗМЕНИШЬ. ПОТОМУ ЧТО МОЮ ВЛАСТЬ НЕ ПОБЕДИТЬ НИ БОГАТСТВОМ, НИ КРОВЬЮ.*

Переводчица в атласном халате выплевывала слова, и каждое из них словно обжигало Борису сердце.

– *В ТВОЕМ КРУГЕ ЖИЗНИ ВСЕ БУДЕТ ДВАЖДЫ. ТЕБЯ ДАЖЕ ПОХОРОНЯТ ДВАЖДЫ. В ПЕРВЫЙ РАЗ ВСЕ УЗНАЮТ О ТОМ, ЧТО ТЫ НЕ УМЕР, А ВО ВТОРОЙ ТЫ САМ НЕ УЗНАЕШЬ О ТОМ, ЧТО УМЕР. ТЫ РОДИШЬ СЫНА И УГОТОВИШЬ ЕМУ СУДЬБУ СОБСТВЕННОГО ОТЦА, КОТОРОГО ТЫ НИКОГДА НЕ ЗНАЛ... ТВОЕ ПРОШЛОЕ ВСТРЕТИТСЯ С ТВОИМ БУДУЩИМ. А ТЫ ВСТРЕТИШЬСЯ СО СВОИМИ РОДИТЕЛЯМИ ТАМ, ГДЕ БЫЛ ЗАЧАТ. И КРУГ ОПЯТЬ ЗАМКНЕТСЯ...*

Старуха глубоко вздохнула, и Боре показалось, что занавески на окнах шевельнулись.

– А теперь – уходи... – Все та же цепкая рука развернула мальчика лицом к двери и подтолкнула в спину. Никем более не удерживаемый, он шагнул к выходу, покачиваясь из стороны в сторону, как будто был измучен и ослаблен долгой болезнью.

– *ТВОЯ СУДЬБА НАПИСАНА МНОЮ*, – прозвучало ему в спину, – *А ТЫ ПИШИ СУДЬБЫ ДРУГИХ. ЭТО И ЕСТЬ – КРУГ. А НАЙТИ КРЕСТ ОЧЕНЬ НЕПРОСТО. ИДИ... И ПОМНИ: ВСЕ, ЧТО СЕГОДНЯ НАЧНЕТ ПРОИСХОДИТЬ, – УЖЕ НЕ МОЕ ПРОРОЧЕСТВО, А ТВОЕ... ТВОЕ...*

На всем этаже не было ни души. Боря неуверенно шел по мертвому коридору, как по тоннелю, навстречу светлому пятну, в котором угадывались стол дежурной медсестры и старый кожаный диван, где еще пятнадцать минут назад он листал скучную книжку без картинок. Или это было час назад? А может, два?.. А может, ему вообще все приснилось – и суровая женщина в атласном халате, и безобразная умирающая старуха на черной простыне?

Ему опять стало страшно. Что значат все эти нелепые и жуткие пророчества, адресованные «мальчику по имени Борис»? Почему он остался совсем один в этом коридоре ночью? Почему Галинка не спасла его от чудовищной старухи? Почему не появилась рядом, не обняла, не провела своей волшебной рукой по волосам, не шепнула на ухо, что она – здесь, с ним и никогда не оставит в беде своего братишку?

«А вдруг она умерла?!»

Борис вздрогнул от этой мысли, ледяной волной скатившейся в самое сердце.

«А вдруг Галинку задушила змея? Или она подавилась косточкой, звала на помощь, но никто не услышал ее? А вдруг... – тут мальчик похолодел от ужаса, словно попал своей догадкой в самую точку, – а вдруг ее убил ординатор Миша?! Заколот ножницами... или толкнул на острый мраморный бюстик!»

Боря уже не сомневался, что именно так все оно и было. Он даже вспомнил этот бюстик в ординаторской. Мраморная голова какого-то врача с бородкой и в пенсне! На подставке посреди стола!

Сердце выпрыгивало из груди, стучалось комком где-то у самого горла, подкатывало черными пульсирующими пятнами к глазам и растекалось противной дрожью в коленях.

Боря стоял перед дверью в ординаторскую и не мог справиться с ужасом и отчаянием, охватившими его.

Вдруг он услышал стон. Боря задержал рвущееся наружу дыхание и прислушался. Но ничего не услышал, кроме собственного сердца. Стон повторился. Явственнее и громче, чем в первый раз. Сомнений быть не могло: кто-то тихо, в глухих страданиях, умирал за этой белой потрескавшейся дверью, в лунном свете, возле зловещего мраморного бюстика на врачебном столе. Боря с шумом распахнул дверь и замер на пороге, холодея от открывшейся его глазам картины.

У самого окна, на столе, рядом со сдвинутым набок мраморным бюстиком неизвестного врача с бородкой и в пенсне, среди раскиданных в беспорядке бумаг, лежало, облизанное смертельно бледным светом луны, прекрасное тело Галинки. Ее спутанные волосы чернильно разлились по бумагам, а белый, задранный вверх подбородок трепетал. Боря успел разглядеть маленькую, словно яблоко, грудь с твердым темным соском, дрожащую, как вода в стакане, забытом на столике в купейном вагоне ночного поезда. Влажный живот Галинки сокращался, как при судорогах, а ее красивые ноги, словно надломленные в коленях, удерживал большими руками широкоплечий великан, стоящий вплотную к столу. Мужчина наносил звонкие шлепки всем своим телом по вздрагивающей на столе Галинке, и всякий раз после такого влажного удара девушка стонала. Она запрокидывала голову и судорожно мяла ладонями бумаги, на которых лежала. Казалось, она задыхалась. А великан наносил удары все чаще и чаще...

В диком, отчаянном порыве, словно проламывая грудью ледяную стену ужаса, Боря ринулся в комнату.

– Не сме-е-йте!

С тяжелым грохотом покатила по полу опрокинутая табуретка, рухнул металлический штатив, на котором крепилась анатомическая карта. Мужчина отскочил в сторону, точно ударенный током. Галинка резко села на столе, испуганно таращась в тусклый прямоугольник распахнутой двери.

– Боря! Бориска! Ты что?

Мальчик остановился как вкопанный перед самым столом, обводя безумным взглядом, в котором все еще плескался ужас, голые плечи сестры, ее торчащие в разные стороны маленькие груди, ее выставленные вперед руки. Это машинальное движение рук больше всего поразило Бориса. Ожившая Галинка теперь защищалась от него! Она преградила ему путь растопыренными ладонями, словно в одно мгновение построила невидимую стену между ними. Между собой и тем, кто бросился ей на помощь.

Не сводя широко раскрытых глаз с сестры, отказываясь верить в реальность происходящего, Боря попятился назад. Его безумный взгляд вдруг упал на маленький столик у самой стены.

– *Крест!* – вскрикнул он, потом тяжело и хрипло вдохнул и опрометью кинулся за дверь.

– Боря! Борис! Бо-о-о-ря!..

Его имя катилось за ним по коридору, по лестнице, спотыкаясь на каждой ступеньке, путаясь в сплетении перил, цепляясь за ржавую, тугую спираль дверной пружины. Очутившись в больничном саду, он перевел дыхание. Утренняя свежесть плеснула по щекам и медленно соскользнула по подбородку соленым отчаянием. Боря поднял глаза. Галинка стояла у окна в наспех накинутом халатике, под которым угадывалась ее нагота, и что-то кричала. Неровности стекла кривили ее лицо, и было непонятно, плачет она, напугана или смеется. Борис видел ее губы, беззвучно зывающие о чем-то, ее руки, упертые в края оконной рамы, и странный бело-голубой свет, поднимающийся от земли и ослепительно дрожащий в стеклах всех трех этажей.

«Я стою на улице и смотрю на нее. Мне очень хочется плакать но я не умею плакать. Так жалко. Лутше итобы я умел плакать. Она стаит у окна и говорит итото мне. Она завет меня. Но я не слышу итто она говорит. Я только вижу итто она очень красивая и она в одном халатике из бальницы. Она савсем голая только в халатике и все. А я стаю на улице неслышу итто она говорит мне и мне хочеца плакать и кричать. А на улице поднимаеца свет от земли. Он такой страшный хотя и валишебный. Я слышу гром. А Галинку неслышу. И я хочу к ней. Но мне нельзя к ней. Я ее потерял. Но мы все равно будем когда-то вместе!»

Боря попятился назад и испуганно опустил глаза: ноги перестали слушаться его. Они подгибались в коленях и дрожали в суставах так, словно наступили на гигантскую бормашину. Волшебный свет, поднимавшийся от земли, сменился грязной и плотной пылью. Мальчик в страхе оступился, но быстро поднялся и сделал попытку бежать. Он и бежал, но неестественно медленно и странно. Каждое движение давалось с трудом, сандалиии попадали совсем не туда, куда он ставил ногу. Они разъезжались, больно подворачивались. Боря снова упал. На этот раз подняться было невозможно. Земля подпрыгивала и рассыпалась на десятки грязных, огромных кусков.

Он беспомощно и тоскливо устремил взгляд туда, где за грязными от пыли окнами зывала к нему сестра. Но он не увидел ни Галинки, ни самих больничных окон. Трехэтажный дом вдруг растаял. Он не сложился, как детская бумажная пирамидка, – он сполз вниз в два коротких мгновения. Целиком. Словно был сделан из сухого песка, которым в детдоме засыпали лужи во дворе. А на его месте вырос огромный серо-бурый змей, клубящийся грязной пылью. Он стремительно полз прямо на Бориса, заглатывая на своем пути садик с фруктовыми деревьями, детские качели с забытой куклой и ограду из камышовых веток с темно-синей табличкой «Больница № 4».

Боря дернулся всем телом, пытаясь вскочить на ноги, но смог лишь перевернуться лицом вниз и в отчаянии закрыть голову руками. Он почувствовал, как какая-то грубая сила толкнула его, тяжело сдавила тело и чем-то стукнула по затылку. Он вжимался лицом в скачущую землю, норовящую сбросить его с себя, выпихнуть в эту жуткую, пыльно-песочную стихию, отдать на растерзание кровожадному змею.

– Гали-и-инка!!!

Глава 6

В трагичной, полной загадочных, страшных и порой необъяснимых событий биографии Бориса Григорьева первая кровавая зарубка появилась именно тогда – в день беспощадного, жестокого землетрясения 1948 года.

Он очнулся в больничной палате круглым сиротой. Безжалостная стихия вернула его в тот мир, где он был просто подкидышем. Она не только отобрала у него обретенную семью, отняла людей, которых он любил всем своим детским сердцем, – она сделала его *никем*. Он перестал быть сыном, братишкой. Он перестал быть даже Графом.

Весь их новый, многосемейный, дружный дом исчез с лица земли, как и десятки других таких же домов, в которых еще несколько лет назад люди праздновали новоселье. Счастье новых просторных квартир, куда переселялись ташкентцы из низких, бедных глинобитных домиков, обернулось трагедией. Бедой, еще более жуткой оттого, что все эти маленькие, оставленные ими домики выдержали стихию и уцелели.

Прямо у него на глазах погибла Галинка – его единственная любовь.

От прежней жизни у Бори остались лишь плотная, свернутая в трубочку тетрадь в клеенчатом переплете, с которой он не расставался даже ночью, и огрызок чернильного карандаша. Впрочем, было еще кое-что – клочок бумажной салфетки с непонятным, зловещим кругом и крестом, похожим на кинжал.

Здесь, в больничной палате, Борис впервые почувствовал страшный приступ головной боли. Подобные приступы потом стали случаться чуть ли не ежегодно. И всякий раз в такие тяжелые дни, наполненные страданием и болью, Боря был изолирован, отгорожен от людей. Он лежал совершенно один в тихой и печальной комнате, уронив на подушку тяжелую голову, в которой жидким свинцом плескалась мучительная боль.

Перед самой выпиской в палату к Борису пришел маленький рыжий человек по имени Владимир Ильич. Он извлек из пузатого портфеля какие-то бумаги и долго беседовал с мальчиком, делая в них пометки карандашом. Он расспрашивал Борю про его детство, выпытывал подробности его усыновления. Рыжего Владимира Ильича необычайно заинтересовала история про овечку Лолу, а страшную картину разрушения больницы он просил описать несколько раз.

К концу разговора Боря так измучился от заново пережитых во время рассказа страданий, что у него снова начался приступ.

– Сделайте ему инъекцию! – распорядился рыжий, вставая.

Покинув палату Бориса и спускаясь по лестнице на первый этаж, он подумал: «Похоже на маниакальный психоз. Хотя диагноз ставить еще рано. Подождем...»

Дети-сироты брались на специальный учет комиссией горисполкома. Подростков направляли в школы фабрично-заводского ученичества. Девятилетнего Борю определили в первый класс интерната при авиационном заводе. Учился он с легкостью, удивляя педагогов и раздражая сверстников, с которыми почти не общался. Он не участвовал в их играх и затеях, большую часть времени проводя с книгами или просто в одиночестве.

Время летело быстро, но для Бориса оно словно остановилось – как будто кто-то очень близкий и родной вышел из дома, забыв оторвать лист с настенного календаря. Этот «кто-то» так и не вернулся обратно, а на пыльном календаре в детском сердце так и застыла одна дата – день землетрясения.

– Что ты там все время пишешь? – спросил его как-то после уроков Эльдар Фатехов – парень лет двенадцати со сломанным носом и оттопыренными ушами.

Боря сидел на кровати в комнате общежития, забравшись с ногами на грязно-синее шерстяное одеяло и положив на колени заветную тетрадь. Он смущенно загородил рукой исписанную карандашом страницу, когда Эльдар задал свой вопрос.

– Убери клешню! – потребовал тот. – Дай посмотреть. Может, ты постукиваешь? Эй, парни! – Эльдар призывно обвел глазами комнату. – А Краб-то у нас стукачок!

Боря молчал, опустив глаза и плотно сжав бледные губы. Крабом его прозвали за «клешню» – изувеченную, корявую ладошку, которая к тому же упорно не хотела догонять в росте здоровую руку и поэтому выглядела еще уродливее.

– Да оставь его, Ушан! – беззлобно отозвался кто-то из ребят. – Краб у нас писатель! Он у Циклопа любимчик.

– Пис-сатель! – презрительно фыркнул Эльдар. – Про кого пишешь?

Боря пожал плечами.

– А про меня пишешь? Не пишешь? Тогда какой же ты писатель? Напиши про меня. Как я стану военачальником! Точно, генералом!

Ребята одобрительно качали головами и смеялись:

– В самом деле, Краб! Напиши про Ушана. Как он командует армией. Нет, фронтом!

– Не могу, – вдруг коротко ответил Борис, и в комнате стало тихо.

– Тогда какой же ты писатель? – повторил Эльдар с насмешкой и обвел взглядом своих друзей, приглашая их разделить его разочарование.

Но мальчики уже не улыбались.

– Почему не можешь? – тихо спросил кто-то.

Боря закусил губу.

– Я не знаю, как объяснить... Просто... не могу. Я не могу написать о том... чего не будет.

Эльдар нахмурился:

– Ты это... сам-то понял, чего сказал? – Он наклонился к Борису и отвесил ему легкий подзатыльник. – Эх, Краб, твоя голова тебя погубит!

– *Это твоя голова погубит тебя...* – Боря сам испугался своих слов. Он даже не понял, зачем произнес их.

Эльдар, который уже было направился к двери, быстро вернулся обратно.

– Ответишь, Краб? Я тебя спрашиваю: ответишь, сучок?

– Ушан! – крикнул кто-то предостерегающе, но опоздал.

Эльдар, коротко замахнувшись, сбил Бориса с кровати ударом в лицо. Потом подождал, когда тот поднимется на ноги, и ударил снова. Когда Боря опять поднялся, кровь тяжелыми каплями падала с подбородка на пол. Эльдар снова замахнулся.

– Нечестно! – загалдели ребята. – До первой крови!

Ушан задержал руку и плюнул зло:

– Ладно, сучок. С тебя хватит. В другой раз наука – отвечай за слова...

Борис вытер кровь с лица полотенцем, висевшим на бельцах кровати, потом быстро упал на колени и, пошарив руками по полу, поднял тетрадь. Шумно вздохнув, он бережно провел по обложке рукавом и сунул ее за ремень штанов.

Через месяц интернатовцев отправили на сбор хлопка. Эта обязательная ежегодная работа и так была нелегкой, но казалась еще мучительнее оттого, что жить приходилось в ужасных условиях. Дети спали в хлеву, на полу, подложив под головы собственные скрученные в узел фартуки, грязные и влажные от пота, и зарывшись в колючую, ломкую солому. Кормили плохо, а работать приходилось по восемь часов кряду под изнурительным, палящим солнцем.

Спустя две недели после начала работ Эльдара Фатехова с огромной температурой увезла в город белая машина. Всю ночь его бил озноб, да такой сильный, что казалось, будто кто-то невидимый схватил его за плечи и тряс, не переставая. Утром за мальчиком приехал врач, а вечером, после окончания работ, к ребятам прибежал запыхавшийся воспитатель.

– Все, пацаны! Отработались... Карантин на неделю! Пять минут на сборы – и возвращаемся в интернат.

Той же ночью детей увезли в город и поместили в изолятор общежития.

А спустя еще три дня их ошеломили новостью: Эльдар Фатехов умер в детской клинической больнице от менингита.

– Это такая *болезнь головы*, – пояснил со вздохом воспитатель среди воцарившейся в комнате гнетущей тишины. – Страшное дело, пацаны...

Сразу после похорон, на которых присутствовали весь класс Эльдара и большинство его приятелей по общежитию, Боря отправился к Циклопу.

Николай Давыдович – школьный учитель, получивший свое прозвище за потерянный на фронте левый глаз, – был чуть ли не единственным человеком, к которому Борис испытывал привязанность. Долгое время Боре казалось, что с потерей Галинки и Максуда между ним и другими людьми выросла стена, которую не под силу разрушить даже очень доброму и хорошему человеку. Циклоп стал единственным, кому это удалось.

Это был грузный, неторопливый в движениях мужчина лет сорока с шапкой густых, вьющихся волос, побитых сединой, маленькой смешной бородкой и тонкими усиками на широком добродушном лице. Без этой бородки, похожей на хвостик арбуза, лицо Циклопа было бы совершенно круглым. Он не носил «пиратской» повязки, а увечный глаз прятал под стеклом толстых роговых очков. До войны он преподавал в Ленинградском университете романскую филологию. На кафедре его считали многообещающим молодым ученым. Коллеги завидовали ему: блестящая карьера (хотя родители – из «бывших»), красавица-жена (аспирантка того же университета) и очаровательная дочка. Чего еще желать молодому мужчине? Никто особо не удивлялся, когда в начале войны именно ему – одному из немногих преподавателей – досталась бронь, освобождавшая его от призыва на фронт. Но Циклоп не моргнув глазом (тогда еще невредимым) отказался от льгот. Он эвакуировал жену с семилетней дочкой в Ташкент, а сам ушел воевать.

Через два месяца где-то под Смоленском полуторка, в которой находился молодой ученый-лингвист, угодила под удар авиабомбы. Взрывной волной его выбросило из кузова в придорожную канаву. Невероятно, но он не потерял сознание. Так и пролежал в яме почти шесть часов, корчась от боли и задыхаясь от гари дымящегося рядом грузовика, пока его не обнаружили бойцы из проезжавшего по дороге обоза.

У него вытек глаз, были сломаны ребра и повреждено легкое.

На военно-врачебной комиссии, где решался вопрос о списании, он пытался протестовать:

– Я же лишился левого глаза, а не правого! Я могу целиться!

Но вердикт был категоричен: отвоёвался, в тыл.

Он приехал в Ташкент холодным февральским днем. Долго ходил по городу, разыскивая адрес, который столько раз выводил карандашом на бумажных треугольниках писем.

Дверь открыл мужчина лет тридцати пяти с изрытым оспой лицом и маленькими беспокойными глазами.

– Чего надо? – грубо спросил он, загородив проем и застегивая ремень на штанах.

– Я... Это дом шесть? – на всякий случай спросил Николай, хотя и так знал, что не ошибся. – Мне нужна...

Он внезапно осекся, потому что увидел из-за плеча мужчины в глубине дома свою жену. Она с беспокойством выглядывала из комнаты, и Николай успел заметить, что на ней ничего нет, кроме наброшенного впопыхах халата.

– Слышь, – миролюбиво процедил мужчина, – ты меня с бабы снял. Так порядочные люди не поступают. Тебе чего надо-то?

– Порядочные люди? – машинально повторил Николай, и в его единственном глазу плеснулось отчаяние. – Я приехал к своей жене и дочери...

Целый час они провели на маленькой обшарпанной кухне вдвоем. Он сидел на табурете, уронив руки между коленями и устремив невидящий взор на валяющийся у его ног вещмешок. Она стояла возле стола и что-то быстро и сбивчиво говорила, время от времени проводя рукой по холодной клеенке, словно смахивая с нее невидимые крошки.

– Понимаешь, – доносилось до него сквозь глухую пелену, – Леонид очень хороший человек... Он любит нас... Он – интендант... Он полностью содержит нас...

Наконец Николай встал и медленно накиннул на плечо вещмешок.

Жена замолчала на мгновение, а потом сорвалась на крик:

– Ты не имеешь право меня осуждать! Не имеешь право! Спроси, как мы жили все это время! Ты ведь ничего не знаешь! Не знаешь, как мы чуть не умерли от голода! Не знаешь, сколько мы натерпелись и намыкались! А ты... Ты бросил нас! У тебя была бронь! Но ты ради своего мальчишества, ради самоутверждения отказался от нее и плюнул на все! Ты что хотел доказать? Что ты – герой, а все остальные – ничтожества?

Он молча двинулся к выходу.

– Кому и что ты доказал? Ты из-за тщеславия обрек свою семью на голодное существование! И после этого ты смеешь обвинять меня? Я любила тебя, а ты предал нас!

У дверей он остановился.

– Где моя дочь?

Женщина быстро вытерла слезы и ответила уже спокойно:

– Она в школе.

– Я приду к ней завтра.

Интендант Леонид пошел провожать его до калитки.

– Слышь, – говорил он, то ли пряча в развязности свое смущение, то ли всерьез пытаясь приободрить Николая, – не бери в голову... Ты, наверно, плохо знаешь баб. Никогда не верь им, старина. Они будут долго брехать тебе про любовь, а самим нужно только две вещи: мешок золотой да хрен удалой! Мужик им нужен, понимаешь? Ни одна баба не может долго без мужика. Своего рядом нету – ляжет под чужого!

Николай резко остановился и глянул единственным глазом на развязного провожатого, словно примеряясь, какую часть тела ему оторвать первой.

Тот поспешно распахнул перед ним калитку:

– Ну, прощевай.

Николай помедлил секунду, потом поправил мешок на плече и быстро вышел.

– Это! – крикнул ему вдогонку интендант. – Слышь... Надо будет продуктами помочь – обращайся!

В горисполкоме внимательно посмотрели его документы.

– Педагог, значит? Ну, в Ленинград, сами знаете, сейчас вернуться нельзя. Блокада. Оставайтесь здесь. Будете учительствовать. У нас педагогов – в обрез, а детей... Одних эвакуированных – тысячи. Оставайтесь. Карточка, паек и триста рублей.

И Николай остался.

Он работал в школе, где училась его дочь, чтобы быть ближе к ней.

После войны до него дошли слухи, что интендант Леонид проворовался и попал в тюрьму. Жена не стала медлить ни дня – подхватила дочь и уехала в Ленинград.

А Николай из Ташкента больше никогда не уезжал.

Пять лет назад он стал Циклопом – заместителем директора по учебно-воспитательной части школы-интерната при Ташкентском авиационном заводе. А четыре года назад в школе появился Боря Григорьев.

Учитель сразу обратил внимание на немногословного мальчика с умным, печальным взглядом и бледным, почти аристократическим лицом. Что-то родное почувствовал он в этом маленьком человеке, что-то созвучное своей собственной судьбе угадал он в его жизни. Быть может, раннюю боль потерь и утрат, а может – одиночество.

Обнаружив его страсть к чтению, Циклоп стал приносить из дома книги. Он небрежно вручал их своему удивительному ученику со словами:

– Мне вот здесь попалась занятая книжечка... Ты не читал, Борис?

Тот вертел книгу в руках и отрицательно качал головой.

– Ну, почитай. Не пожалеешь.

Боря кивал и уносил книжку в общежитие. На следующий день он возвращал ее учителю.

– Не осилил? – удивлялся Циклоп.

– Я прочитал.

– Всю? – удивление смешивалось с недоверием.

– Всю.

– И каков результат?

– Мне понравилось. Спасибо.

– Понравилось... – задумчиво повторял Циклоп. – А что именно понравилось?

Крайне неохотно и очень сухо мальчик пересказывал прочитанное. Словно урок отвечал.

– Ну хорошо, – кивал Циклоп. – Я рад, что тебе понравилось...

«Он действительно читает все, что я ему даю, – размышлял учитель. – Почему же он так скуп на эмоции? Или его не задевает прочитанное? На сколько замков заперто сердце этого мальчика? И существует ли ключ от этих замков?»

Нередко он просил Бориса задержаться после уроков для короткой беседы и неизменно поражался его странной рассудительности и недетской серьезности.

– Скажи, Боря, – спросил он у него однажды, – а ты не хотел бы попробовать не только читать, но и *писать*?

Мальчик посмотрел на него и, секунду поколебавшись, признался:

– Я пишу, Николай Давыдович. Прозу.

Учитель оживился:

– Прозу? Очень хорошо. А ты никогда не писал стихи?

– Нет.

– А я – писал. Хочешь, дам тебе почитать?

– Нет.

– Ты не очень-то учтив, – улыбнулся Циклоп. – Впрочем, ну их, эти стихи. Таланта у меня никогда не было.

Мальчик посмотрел на него изучающе.

– Николай Давыдович... А как определить, есть талант или его нет?

– Ну... Нужно отдать свои произведения на суд читателей.

– И они определяют?

– Возможно. Конечно, определяют. Ведь единственные судьи поэта или писателя – это его читатели.

– А если их нет?

– Тогда говорят, что писатель пишет «в стол». То есть – для себя одного. Но подумай: можно ли его тогда назвать писателем?

– А если он пишет не для читателей и не для себя?

– А для кого же тогда? Или – для чего?

Борис пожал плечами:

– Для того, чтобы *исправить судьбу*.

Однажды мальчик задержал у себя книгу, которую ему дал Циклоп, дольше обычного. Он не вернул ее ни на следующее утро, ни через день.

В конце недели после уроков Боря не спешил уходить в общежитие и топтался в нерешительности возле класса.

– Ты хочешь мне что-то сказать? – спросил Циклоп.

– Мне понравилась книга, – неожиданно ответил Борис, и глаза его загорелись.

– Вот как? – Николай Давыдович попытался скрыть охватившую его радость.

«Вижу, что сейчас действительно понравилась. Лед тронулся».

– Там про *будущее*, – продолжал мальчик, – и про то, что человек – «хозяин своей судьбы»!

Циклоп кивнул.

– Это верно. Человек – кузнец своего счастья.

– Или несчастья...

Учитель удивленно поднял на него единственный глаз.

– Что ты хочешь сказать?

– Я... тоже пишу про *будущее*. Но мои герои – несчастны. И я подумал...

Циклоп напрягся, ожидая услышать что-то очень важное. Но Боря замолчал.

– Подумал – что? – с непритворным интересом переспросил учитель.

– Я подумал: могут ли они сами стать кузнецами своего счастья? Могут ли изменить написанное мною? – закончил Борис и смутился.

Циклоп перестал улыбаться и очень серьезно посмотрел мальчику в глаза:

– А ты сам не можешь их сделать счастливыми? Ведь это в твоей власти как писателя.

– Не могу.

– Тогда им придется самим выпутываться, – вздохнул учитель.

Боря задумчиво кивнул:

– Мне тоже придется выпутываться самому. Спасибо вам, Николай Давыдович.

– За что?

С этого дня учитель почувствовал, что открыл сложный замок. Они стали ближе друг другу. И оба искренне дорожили этим.

Сразу после похорон Эльдара Фатехова Борис ворвался в учительскую, где Циклоп проверял тетради с домашними заданиями, и выпалил с порога:

– Николай Давыдович! Мне нужно с вами поговорить!

– А это не ждет, Борис? Через полчаса я закончу, и тогда...

– Не ждет! Я... Я приношу людям смерть!

Что-то гулко стукнуло в наступившей тишине. Это Циклоп уронил на пол учебник.

– Сядь, – сказал он как можно спокойнее. – Объясни толком, что произошло?

Боря присел на краешек стула и с мольбой взглянул на учителя:

– Помогите мне, Николай Давыдович!

Циклоп отодвинулся от стола и, сложив руки на коленях, уставился единственным глазом на мальчика.

– Ты был сейчас на похоронах?

Боря кивнул.

– Понятно. Видишь ли, мой дорогой, жизнь и смерть соседствуют друг с другом так близко, так тесно, что иногда становится страшно... Тебе, в твои юные годы, уже довелось увидеть смерть очень близко. Это и взрослому тяжело, не то что ребенку.

– Дело не во мне, Николай Давыдович. А в том, что я пишу...

– Не понимаю.

– Я пишу, что с людьми произойдут несчастья, и эти несчастья действительно происходят! А недавно я сказал Эльдару, что его голова его погубит...

Учитель задумался.

– Он обижал тебя?

Боря неохотно кивнул:

– Да, но я не хотел ему зла. Честное слово!

– Послушай меня, мальчик. Ты здесь ни при чем. Просто... так уж случается в жизни. Мы теряем близких и виним себя в их смерти.

– Вы что, не понимаете, Николай Давыдович? Все, что я пишу в своей тетради, – сбывается!

– Понимаешь, Борис, настоящий писатель – а я уверен, что ты им станешь, – всегда переживает и проживает написанное. Фатальные совпадения тоже случаются. Тем ярче его талант. Это значит, что писатель понимает и видит жизнь. Он как бы угадывает жизнь. А иногда и пророчествует. Мы с тобой знаем из литературы, как много великих свершений и открытий были предсказаны писателями и поэтами. Художник мечтает о лучшей жизни, и такая жизнь строится людьми.

– Но я-то предсказываю *плохое*.

– Не внушай себе того, чего нет на самом деле.

– А землетрясение? Я все предвидел заранее – и странный свет, поднимающийся от земли, и разрушения, и гибель Галинки!

Циклоп на секунду замолчал и с сомнением покачал головой:

– Я так не думаю... Боря, тебя когда-то потрясла смерть любимого человека. Это понятно... Но не наговаривай на себя. И людей не пугай. Атеисты – они, знаешь, тоже боятся всякой мистики.

Боря не ответил. Он страдальчески зажмурился и опустил голову. Циклоп встал, подошел к окну и долго смотрел в него, барабанив пальцами по стеклу. Потом повернулся к Борису:

– Тебе кажется, что ты каким-то образом предсказываешь события, правильно? И тебя пугает то, что эти события трагические, а не счастливые. Ты чувствуешь себя ответственным за них, так?

Боря кивал, не поднимая головы и опустив глаза в пол.

– Ты испытываешь вину, – продолжал Циклоп, – перед теми людьми, которые оказались жертвами этих несчастий?

– Ни они, ни я ничего не смогут с этим поделать... – сказал Борис едва слышно.

«Вот где настоящее несчастье, – думал Николай Давыдович. – Мальчик всерьез чувствует себя виновным в трагедиях других людей! Он сам несчастен и одинок, но тяготится чужими невзгодами. Он отказывается верить в совпадения и от этого страдает еще сильнее. Чем помочь ему? Объяснять, что жизнь на самом деле еще более жестока, чем все его фантазии? Или доказывать, что миром правят красота и любовь?»

Он опять повернулся к Борису:

– Как ты думаешь, что тебе может помочь?

– Только крест может разорвать круг... – неожиданно выпалил тот.

– Крест? – удивился Циклоп. – Какой крест?

Борис досадливо поморщился:

– Я не знаю. Наверное, *кинжал*.

Учитель растерялся. Но через мгновение ему пришла в голову интересная мысль.

– Знаешь что, – сказал он преувеличенно бодро, – я был бы тебе очень признателен за доверие, если бы ты дал мне на один день почитать твою тетрадь. Это возможно?

Борис на секунду задумался, потом медленно вынул из-за ремня свернутый в трубку клеенчатый переплет.

– Возьмите...

Спустя два часа, у себя дома, сидя за письменным столом, Циклоп открыл Борину тетрадку, пробежал глазами неровные карандашные строчки и растерянно откинулся на стуле:

– Все гораздо хуже, чем я предполагал...

Глава 7

После пятого класса многие мальчишки оставляли школу и шли работать учениками на авиационный завод. Класс, в котором учился Борис, опустел почти наполовину. После разговора с Циклопом мальчик старался как можно реже брать в руки тетрадь в клеенчатом переплете. Но иногда странные и пугающие картины вставали у него перед глазами, выплывали из ниоткуда образы и предметы, тревожно и гулко звучали диалоги, звенели фразы, и Боря в отчаянии сдавался и хватался за обгрызенный чернильный карандаш.

Он стал посещать «Литературные четверги» во Дворце пионеров.

Преподаватель, ведущий эти занятия, хороший приятель Циклопа, развел руками:

– У меня все-таки кружок литературы, а не волшебства. Чего ты добиваешься, Коля?

– Я хочу, – ответил Циклоп, – чтобы мальчик научился различать добро и зло.

– Он все время пишет в тетрадь, – заметил преподаватель. – Ты видел написанное?

– Да, – вздохнул Николай Давыдович. – Надеюсь, со временем он перестанет писать...

Но Циклоп ошибся. Через месяц Борис сообщил ему, что опубликовал два своих рассказа в газете «Пионер Ташкента» и в молодежном журнале «Юность Востока».

Учитель к этим событиям отнесся сдержанно. Он должен был гордиться своим любимым учеником, но на самом деле испытывал чувство, не имевшее ничего общего с радостью.

Это был испуг. Странная тревога вползла в сердце Циклопа и угнездилась там, время от времени оживая и шевелясь от новых успехов Бориса.

– Николай Давыдович, – с лица мальчика не сходила озабоченность, – может быть, это неправильно...

– Что именно?

– Понимаете... Я начал новый рассказ. И он – о вас.

– Ну что ж, – вздохнул Циклоп. – Мне очень лестно.

– Я боюсь, – неожиданно признался Борис, – что вы... возненавидите меня, когда узнаете, что я приношу несчастья и беды и делаю людей беспомощными перед опасностью.

«Опять... – подумал Циклоп. – Он боится своих мнимых пророчеств. Боится людей. И боится себя. Он внушил себе, что ему на роду написано быть несчастным, и он как будто опасается заразить этим несчастьем окружающих». А вслух сказал:

– Неправда. Ты любишь людей. А люди всегда это чувствуют. Тебе не о чем тревожиться.

Но тревожиться все же было о чем. И Циклоп сам испытал что-то, похожее на холодный озноб, когда в один из дней Борис почему-то вдруг спросил его:

– Николай Давыдович, а дом, в котором вы живете, – *деревянный*?

Учитель почувствовал легкую тревогу, но заставил себя усмехнуться:

– Нет, он сделан из кирпича. А... а почему ты спрашиваешь?

Мальчик словно не обратил внимания на этот вопрос, и продолжал с нетерпением:

– А вы часто бываете в деревянных домах?

– Что ты имеешь в виду? В домах, сделанных из досок? Из фанеры?

– Нет. Из таких... квадратных бревен.

– Из бруса?

Циклоп вдруг поймал себя на том, что испуганно перебирает в памяти такие дома.

«Что со мной? – подумал он. – Чего я вдруг так переполошился?»

– Я не бываю в таких домах, Борис, – сказал он как можно спокойнее. – Ну а теперь ответь мне все-таки...

И вдруг Циклоп похолодел: «Бываю! И нередко!»

Вот уже полгода, как он по поручению комитета по культуре при горисполкоме занимается разбором архивов, оставшихся в Ташкенте еще с войны. Старое здание районной библиотеки, приспособленное под хранение этих архивов, действительно, сделано из бруса! Удивительное открытие, на которое он никогда не обращал внимания. Ведь таких домов в городе не так уж и много!

«Да что со мной? Почему это рядовое совпадение так испугало меня?»

Циклоп почувствовал растерянность. А за ней следом тонкой, нервной змейкой вползло раздражение. Он злился на самого себя за то, что не мог дать простого и логичного объяснения своему беспокойству.

«Я начинаю верить в его пророчества!»

Как только эта мысль со всей очевидностью сверкнула в его мозгу, как только он прочел в своей душе это простое признание, отбитое с телеграфной сухостью и лаконичностью, – он понял причину своего страха.

«Николай Давыдович... Я начал новый рассказ... И он – о вас... Я боюсь, что вы возненавидите меня...»

Циклоп ощутил на какую-то секунду, что усомнился в собственной правоте, в своем жизненном опыте, в своей мудрости и житейской искушенности. Он испугался, что фатальные пророчества могут оказаться правдой! Он позволил спросить самого себя: а вдруг... А вдруг мальчику ничего не мерещится? А вдруг он и впрямь способен плеснуть в чужую жизнь бедой, как кислотой из пробирки?

«Я испугался за свою судьбу!» – с горечью сформулировал сам себе Циклоп, и ему стало противно. Он – умный и сильный человек, самостоятельно кроивший свою судьбу, которая все равно не желала гнуться под его волей, человек, прошедший войну, потерявший семью, одним решением зачеркнувший свое яркое и многообещающее прошлое ради трудного, но правильного будущего, – вдруг испугался за эту самую свою судьбу. И из-за чего? Из-за простого, наивного, ничего не значащего вопроса тринадцатилетнего мальчика, которого он любит и который любит его!

«Мне должно быть стыдно за свое малодушие! – убеждал себя Циклоп. – Мне нужно выбросить из головы эти позорные тревожные мысли. Я – взрослый и умный человек...»

Но чем больше Николай Давыдович успокаивал себя такими заклинаниями, похожими на речевку, тем сильнее страдал от гнетущих раздумий и беспокойств. Минула уже неделя с того дня, как он услышал безыскусное: «А дом, в котором вы живете, – деревянный?» И этот простой и вместе с тем странный вопрос ни на минуту не выходил у него из головы.

Между тем Борис размышлял – нужно ли рассказать Циклопу про его будущее?

Неделю назад он вывел чернильным карандашом в своей заветной тетради:

«Жизнь отбирает у меня тех, кого я люблю. Она так договорилась со смертью. Заключила с ней свою маленькую сделку. А я – монета в этой сделке. Жизнь дает мне любовь, а смерть отбирает ее у меня. Мне страшно, что так будет всегда. Всегда – это не отрезок, это – круг. Я не успею разорвать его до того, как треснет и рухнет эта проклятая деревянная балка! Я не смогу помочь своему единственному, любимому учителю. Но я хочу спасти его! А будет все – наоборот. Это он спасет юную жизнь. Это он самоотверженно накроет собой маленького мальчика, которого любит. А старому, ветхому дому – все равно. И черной, скользкой балке, оторвавшейся от потолка, – все равно. И смерти – все равно. Они договорились. Они отбирают у меня тех, кого я люблю...»

После долгих колебаний Боря решил ничего не рассказывать Циклопу.

«Николай Давыдович когда-нибудь сам все прочитает в моей тетради, – подумал он с грустью, – и, возможно, изменит свою судьбу...»

Спустя месяц Борис обратился к учителю со странной просьбой:

– Возьмите меня с собой в архив...

– Зачем? – удивился Циклоп. – Что делать мальчику в скучном и пыльном хранилище? Уверю тебя: нет ничего интересного или даже занятого в сортировке бумаг.

– Но это ведь – *московские* архивы, – возразил Боря. – А я родился в Москве!

– Не только московские, – пробормотал Циклоп и растерянно кашлянул. – И ленинградские, и смоленские, и брянские... Помнишь, я тебе рассказывал: это – горы всякой всячины, привезенной во время войны в Ташкент. Я перебираю эти горы. Нужно и ценное с точки зрения истории и культуры откладываю в одну сторону, незначительное – в другую.

– Это очень интересно, – настаивал Борис. – А еще я знаю, что в архиве меня ждет удивительное открытие!

– Нет, Боря, – решительно ответил Циклоп, – тебе там делать нечего. Кроме того, я не смог бы тебя туда провести, даже если бы захотел. Архив – режимное учреждение!..

– Значит, не возьмете?

– Нет.

«Режимное учреждение» находилось в здании районной библиотеки, которое вот уже почти десять лет не использовалось по назначению. Неприспособленный к восточному климату деревянный дом с надстроенным чердачным помещением рано состарился. Безжалостное солнце сушило и жгло его стены, а зимой он разбухал от сырости.

В двадцатые годы здесь размещался всеобуч и работали секции по ликвидации безграмотности. Позже сюда переехала библиотека, которая делила помещение с кружком юных барабанщиков. Такое соседство оказалось недолгим. На смену барабанщикам пришли сначала горнисты, потом чтецы-декламаторы. Последние выглядели чуть ли не молчаливыми сфинксами на фоне своих предшественников, поэтому все сотрудники библиотеки всячески оберегали их от возможной замены на каких-нибудь юных взрывотехников или дрессировщиков петухов.

В начале войны библиотеку закрыли, и в доме поселили ответственного товарища из Москвы, отвечавшего за эвакуацию и размещение архивов, документов, предметов интерьера и прочих материалов, имеющих хоть какое-нибудь отношение к истории страны. Из прифронтовых городов вывозили, спасая от врага, все, что могло представлять хоть какую-нибудь ценность. Содержимое архивов и хранилищ спешно грузилось в составы и отправлялось в глубокий тыл. На восток тянулись вагоны, набитые тем, что раньше составляло фонды и библиотеки, резервы и музейные архивы, «документальные склады» и «культурные ангары». Особо следили за тем, чтобы на оккупированной территории случайно не остались документы или материалы, связанные с жизнью «бывших» – дворян, купцов, помещиков, землевладельцев. Специальные фонды национализированных усадеб и дворцов, доходных домов и дворянских имений вывозились целиком, до последней бумажки.

Ответственный товарищ из Москвы поначалу пытался проводить селекцию прибывающих в Ташкент фондов на «очень нужное», «просто нужное» и «возможно представляющее интерес», но вскоре стал распахивать бесконечные ящики, коробки, пакеты и папки куда придется. Квадратные метры любых помещений, не приспособленных для жилья, но имеющих стены и крышу, в одночасье обрастали массивными горами сырого картона, на котором подтеками чернели гордые клише «Архив Культурного фонда СССР», «Архив документального

фонда СССР» и зловещие императивы: «Не вскрывать!», «Вскрывать только в присутствии уполномоченного сотрудника НКВД».

Часть материалов ответственный товарищ складировал непосредственно в доме, в котором жил. Он обнаружил в одной из комнат стеллажи и антресоли, оставшиеся от библиотечного хозяйства, и приспособил их под хранение коробок с грифом «Возможно представляющее интерес».

После окончания войны про архивы, спрятанные в тылу, вспомнили и стали потихонечку возвращать их на прежние места. Теперь, когда не было спешки, во избежание транспортировки «ненужного хлама», приняли решение «отсортировать» эвакуированный груз в Ташкенте и отправить в Москву только действительно важное и ценное. С этой целью в Узбекистан командировали ученых-архивистов и тех самых «уполномоченных сотрудников», о которых предупреждали надписи на картоне.

Впрочем, Ташкент привлекал и собственных специалистов для этой работы. В горисполком приглашали историков, лингвистов, культурологов и торжественно вручали предписания.

Среди таких приглашенных был и Циклоп. С тех пор каждую неделю по вторникам и субботам он приходил в этот потемневший от солнца и сырости деревянный дом, пристраивался в одной из комнат за длинным столом, вывалив на него содержимое очередной коробки или папки, и углублялся в многочасовое пролистывание, просматривание, чтение и прощупывание.

– Вы как всегда пунктуальны! – расплылся в улыбке сероглазый молодой человек, одетый в щегольский двубортный костюм с черным широким галстуком.

– Здравствуйте, Иннокентий Петрович, – буднично приветствовал его Циклоп.

– А это кто с вами? – поинтересовался молодой человек, кивнув на Бориса.

– Это мой ученик. Боря Григорьев. Он будет мне помогать.

– Ученик – это хорошо, – равнодушно отреагировал сероглазый и посмотрел на часы. –

Сегодня как обычно, часика на три-четыре?

– Как получится, – пожал плечами Циклоп. – Пока не устанем.

Молодой человек кивнул и достал из кожаной папки какой-то листок.

– Значит так...

– Инструкцию можете не зачитывать, – улыбнулся Николай Давыдович. – Мы с Борей и так знаем, что нам можно, а чего нельзя.

– Вообще-то я обязан... – почесал в затылке молодой человек. – Но вы товарищ грамотный, все и так понимаете...

– Понимаю, понимаю, – заверил Циклоп.

Сероглазый убрал листок обратно в папку и наклонился к Борису:

– Надеюсь, парень, ты такой же понятливый, как твой учитель?

Он выпрямился, достал связку ключей, погромыхал ею, отыскивая нужный, и ловко, как фокусник, один за другим открыл три замка на двери – два навесных и один врезной. Они зашли в душный предбанник, в котором помещался огромный стеллаж.

– Что из личных вещей принесли с собой? – поинтересовался сопровождающий.

Циклоп порылся в карманах:

– Вот. Только ключи, футляр для очков и расческа. Еще – лупа.

– Хорошо, – кивнул молодой человек и вопросительно посмотрел на Бориса.

– У меня... ничего, – смутился тот. – Только тетрадка...

– Какая тетрадка? – нахмурился Иннокентий Петрович. – Никаких тетрадок, книжек, блокнотов и папок! И вообще – никаких бумаг!

– Но это... – попытался возразить Боря.

– Нельзя, – отрезал провожатый. – Положи сюда, на стеллаж. Когда будешь уходить – заберешь обратно.

Поколебавшись, Боря достал свою тетрадь в клеенчатом переплете и аккуратно, как драгоценность, положил на полку стеллажа.

Они прошли в просторную комнату, служившую когда-то абонементным залом библиотеки, и Борис поморщился: здесь пахло сырой пылью и мышами. Заколоченные наглухо окна не пропускали дневных лучей, а единственная стоваттная лампочка, вкрученная под самым потолком, едва разбавляла полумрак ядовито-желтым светом.

– Здесь так темно! – вырвалось у Бориса.

Провожатый посмотрел на него неодобрительно:

– Конечно, темно. Документы не любят света.

– И тайны не любят света, – улыбнулся Циклоп.

Боря в растерянности посмотрел на учителя.

– Я обо всем давно позаботился, – важно произнес Иннокентий Петрович. Он извлек из-под стола тяжелую настольную лампу, обмотанную длинным черным проводом. – Специально для Николая Давыдовича принес. Свою... Собственную. А другие и так работают. В полутьме.

– Да-да... – быстро согласился Циклоп и взглядом призвал Бориса разделить с ним благодарность. – Спасибо вам, Иннокентий Петрович.

Молодой человек размотал провод, водрузил лампу на единственный в комнате стол, поискал розетку на стене и воткнул штепсель. Лампа под полукруглым алюминиевым абажуром весело вспыхнула и озарила рабочее пространство на столе, уютно выхватив его из желтого, болотного полумрака.

– Отлично, – оценил сероглазый свою работу. – Под такой лампой можно всю жизнь документы читать.

Борис похолодел. Он смотрел, не отрывая взгляда, на световой круг, в котором застыл письменный стол с бумагами, и ему мерещилось, будто он идет, пошатываясь, к такому же уютно освещенному столу с брошенными на нем медицинским журналом и стаканчиками с разноцветными пилюлями, по длинному, зловеще притихшему больничному коридору. Еще мгновение – и он услышит стоны, распахнет ненавистную дверь в ординаторскую, и знакомый голос Галинки задрожит в гулкой тишине: «Боря! Бориска!.. Ты что?..»

– Боря! Борис! Ты что? – Циклоп с испугом всматривался в побелевшее лицо мальчика. – Что-то не так?

Тот вздрогнул и виновато посмотрел на учителя.

– Нет... Все в порядке, Николай Давыдович. Мне просто показалось...

Молодой человек в двубортном костюме подозрительно уставился на обоих:

– Проблем не будет? Может, мне остаться? Для порядка...

Циклоп поспешно подхватил его под руку:

– Не беспокойтесь, Иннокентий Петрович. У нас тут будет нормальный рабочий порядок. Отдыхайте, прошу вас.

Сероглазый еще с секунду помедлил, потом кивнул и направился к выходу. Циклоп распахнул перед ним дверь, пропустил его вперед и вышел следом, моргнув Борису, мол, я сейчас, только провожу нашего куратора и вернусь.

В душном предбаннике сероглазый опять остановился:

– Вы уверены, что все будет хорошо? Что-то парень ваш мне не нравится.

– Все будет очень хорошо, – заверил его Циклоп. – Мальчик просто испугался полумрака.

Но он уже взял себя в руки. Это мой лучший ученик. Без его помощи мне не обойтись.

– Ладно... – Сероглазый звякнул ключами. – Запираю вас на три часа. Когда вернусь – надеюсь, вы не заставите меня пожалеть, что я так вам доверяю.

– Не заставлю... – буркнул Циклоп.

Когда за молодым человеком закрылась входная дверь и шелкнули по очереди все три замка, Николай Давыдович все еще стоял в предбаннике. Он уже собирался возвращаться в комнату, в которой оставил Бориса наедине с архивами, но что-то задерживало его. Что-то заставляло его топтаться в нерешительности. Он знал, что именно, но не хотел признаваться в собственной слабости.

«Какая низость! – шептал себе Циклоп. – Как это мерзко, трусливо и подло!»

Но он уже схватил со стеллажа тетрадь в клеенчатом переплете, его руки дрожали от нетерпения.

«Ты трус! – кричало сознание. – Ты слабый, ничтожный человек! Ты не имеешь права учить детей тому, во что сам не веришь! Не имеешь права убеждать кого-то в том, в чем сам сомневаешься!»

– Нет, – сказал он вслух, стараясь заглушить душевный крик. – Мне это нужно. Это мое лекарство от сумасшествия. Я только взгляну... Мне нужно поддержать самого себя. Мне нужно просто убедиться, что все по-прежнему. Что все в порядке.

И он тут же убедился, что все совсем не в порядке. В одну секунду он нашел то, что боялся найти. Нашел то, во что не хотел верить, чего стыдился про себя, о чем догадывался с незнакомым доселе суеверным страхом.

Тетрадь в его руках ходила ходуном, и буквы скакали перед глазами. Нужная страница открылась сама собой:

«...черной, скользкой балке, оторвавшейся от потолка, – все равно. И смерти – все равно. Они договорились. Они отбирают у меня тех, кого я люблю...»

Пальцы одеревенели. Циклоп медленно закрыл тетрадь и положил ее на место с такой аккуратностью, словно боялся, что стеллаж рухнет под тяжестью написанного в ней. Несколько долгих мгновений он стоял, не в силах пошевелиться. Потом схватил тетрадку и, с жаром перелистав страницы, прочитал все снова. И опять медленно положил ее на полку.

На ватных ногах, разом постаревший и погрузневший, учитель вошел в комнату, в которой оставил Бориса. Тот сидел за столом и перебирал пожелтевшие бумаги. Когда Циклоп застыл на пороге, он поднял голову и воскликнул:

– Николай Давыдович! Я уже начал без вас. Извините... Так интересно!

Циклоп заставил себя улыбнуться:

– Очень хорошо, Боря... Продолжай.

С нечеловеческим усилием, морщась, он поднял глаза и сразу же увидел эту балку. Огромная, безобразная, черная и скользкая от сырости, она нависла прямо над столом, за которым ему предстояло работать и за которым сейчас сидел довольный Борис. Она выглядела зловещим надгробием большого фамильного склепа. Казалось, она вовсе не поддерживала потолок, а была лишь громоздким и бессмысленным архитектурным излишеством. Ее словно специально забыли там, под черным квадратным сводом, чтобы в один печальный день она рухнула вниз, погребая под собой чьи-то надежды, стремления и чаяния. Чью-то жизнь, полную смысла и радостных открытий.

«Как это глупо! Глупо и пошло. Хотеть, гореть, надеяться... Всю жизнь пытаться что-то себе доказать, рубить плеча, начинать все сначала, падать, опять начинать, и вдруг погибнуть. Так ничего никому и не доказав, ничему не научившись, никого не простив. Погибнуть! Не под авиабомбой, не в перевернувшемся грузовике, не под шквальным огнем врага, а под нелепой и страшной в своей прозаичности деревянной балкой».

– Что с вами, Николай Давыдович? – теперь была очередь Бориса с тревогой вглядываться в потемневшее лицо учителя.

Циклоп тяжело сел за стол рядом с мальчиком, провел ладонью по лбу так, что сдвинулись чуть набок толстые очки, и вздохнул:

– Говорят, «нет правды на земле. Но правды нет и выше».

– Вы о чем? – не понял Борис.

Циклоп криво улыбнулся:

– Это Пушкин... «Маленькие трагедии». Вся наша жизнь, наверное, состоит из маленьких трагедий.

Боря внимательно смотрел на учителя, стараясь понять, уловить причину неожиданной перемены в нем. Циклоп снял очки, и мальчик впервые увидел страшное, слипшееся веко. Борис готов был поклясться, что заметил, как в уголке этого безжизненного глаза блеснула слеза. Но Николай Давыдович, спохватившись, быстро водрузил очки на место и, откашлявшись, спросил нарочито бодро:

– Ну что, мой друг, начнем?

Боря все еще не сводил глаз с его лица. Циклоп похлопал его по плечу:

– Давай-ка, дружок, носи сюда коробку... вон ту, перетянутую шпагатом. Сейчас узнаем, какие сокровища в ней сокрыты.

Борис послушно встал со стула и, перешагивая через груды разбросанного по полу бумажного хлама, стал пробираться туда, где небоскребами вздымались заваленные коробками и папками стеллажи.

– Какую, Николай Давыдович? Эту?

– Да. Давай эту, – безучастно ответил Циклоп.

«В чем же правда и в чем справедливость? В чем мудрость жизни, если она позволяет себе так легко, так беспечно оставлять тех, кто любит ее, кто предан ей, кто верит в нее? Почему она так легкомысленно бросает тех, кто ради нее шел на мучения, на утраты? Неужели ей не страшно расставаться с теми, кто сумел выковать свою судьбу из слякотной и мелочной суеты, из плюшевого характера и уязвленного самолюбия? С теми, кто сделал свою судьбу, может, не очень красивой и не совсем правильной, но честной и прямой? Кого же тогда любит жизнь?»

Багровея от натуги, Борис водрузил на стол большую картонную коробку, перетянутую крест-накрест веревкой.

– «Арнаус», – прочитал он вслух надпись на приклеенной сбоку бумажной этикетке и вопросительно уставился на учителя.

– Архив национализированных усадеб, – машинально перевел тот. – Открывай, Боря. И выкладывай содержимое на стол с правой стороны в одну стопку.

Циклоп наблюдал, как мальчик пытается подцепить короткими тупыми ножницами прочный, ворсистый шпагат, и ему вдруг захотелось кричать:

«Боря! Борис! Мой дорогой мальчик! Неужели ты ничего не понял? Неужели ты не догадался, что мы с тобой сейчас – в том самом деревянном доме, о котором ты спрашивал меня с тревогой и о котором писал в своей заветной тетради в клеенчатом переплете?! Мы с тобой вдвоем, взаперти – в том самом месте, от которого ты меня пытался уберечь! В двух шагах от моей нелепой и страшной смерти, которую ты хотел опередить!»

Циклоп закрыл свой единственный глаз и тяжело вздохнул.

Боря между тем справился с бечевкой, разорвал слипшиеся картонные створки и извлек на свет первую стопку бумаг.

– Ух ты! – восторженно воскликнул он. – Смотрите, Николай Давыдович! Здесь написано с твердыми знаками!

– Это не твердые знаки, а «еры», – устало пояснил Циклоп. – Была такая буква в русском алфавите до революции.

Он взял из стопки два верхних листа и разложил их в круге света.

– Ты как в воду глядел, Борис. Это – московские архивы.

Боря вынул из стопки еще несколько бумаг.

– Какие-то уведомления, – произнес он задумчиво. – «Милостивому государю... Георгию Петровичу».

– Это – циркулярные письма. Такие рассылались в огромных количествах земскими управами и городскими службами. Видишь: Георгию Петровичу напоминают о необходимости платить за электричество...

Борис засмеялся.

– Выходит, при царе тоже грешили коммунальными неуплатами? – Он весело стукнул кулачком по столу. – Эх, оправдомов на них не было! Живо за газ и за свет научились бы платить вовремя!

Циклоп хмыкнул:

– Клади, Боря, эти бумажки вон туда, на тот конец стола. Это – «малозначительное», или «не представляющее интереса». Смотрим дальше...

Николай Давыдович развернул прошитый суровыми нитками альбом.

– Хм... Это – амбарная книга, которую обычно вела экономка. Сюда заносились все сведения о покупках и иных тратах. Вот смотри: «...две меры муки, три аршина черниговского сукна, рулон полотняной материи...»

Откуда-то сверху донесся едва различимый звук, как будто хрустнул ледок под чьим-то каблуком. Но Циклопу он показался оглушительным взрывом.

Боря оторвался от бумаг и с удивлением смотрел, как его учитель затрясся, словно в лихорадке, уставился на потолок, вскочил со стула, потом медленно сел на место и сжал кулаки так, что побелели костяшки пальцев.

– Вам... темно? – участливо спросил мальчик.

Циклоп в панике таращил на него единственный глаз.

– Мне? Темно? Пожалуй, мне темно. Мне очень темно.

– Нужно было еще лампу принести, – вздохнул Боря. – Из школы...

– Лампу? – Циклоп все еще дико смотрел на своего ученика, не слыша или не понимая сказанного. Но он вдруг почувствовал, как стали слабеть ледяные тиски, в которых терзалась его душа. Он вдруг ощутил, как неожиданное тепло растеклось в сердце. Сами собой медленно разжались кулаки.

«Я сам себе придумал, как хороша моя жизнь! Я убедил себя, что сделал ее правильной! Но ведь на самом деле, если жизнь соткана из поступков, помыслов и стремлений, то моя не стоит даже того, чтобы быть снисходительной ко мне, жалеть расстаться со мной. Я ее обесценил тем, что сам никогда ни к кому не был снисходителен, никого не жалел и никого не смог простить. Так почему же она должна простить меня? Впрочем, она-то как раз милосердна! Великодушна. Мудра. Ведь именно сейчас она дала мне шанс вмиг сделать ее бесценной, наполненной смыслом. Она дала мне шанс в последнюю минуту сделать ее правильной и красивой. В единственную и самую важную минуту! Она позволила заплатить собою за другую жизнь – куда более ценную и правильную. За жизнь маленького человека, которого я... люблю».

Циклоп положил руки на стол.

– Мне не темно, Боря. Мне – хорошо. И очень спокойно. Спасибо тебе.

Мальчик удивленно моргал.

– Знаешь, – продолжал учитель, – хоть это и непедагогично, но я перефразирую Пушкина. «Есть правда выше!»

Он поднял голову, словно пытаясь заглянуть туда, где есть правда, и с вызовом, с восторгом отчаяния подмигнул единственным глазом черной, уродливой деревянной балке. Почти по-приятельски подмигнул.

Время тянулось невыносимо медленно. Стрелка на светлом циферблате наручных часов Циклопа замерла в непонятно-тревожном положении – будто приклеилась к одному из делений между цифрами. Николай Давыдович смотрел на часы каждые две минуты, щелкал пальцем по стеклу, подносил к уху. Часы тикали. Но стрелка словно умерла, не сумев доползти даже до третьего часа.

Учитель торопился. Он мысленно подгонял время и в нетерпении шептал:

– Ну же... Ну...

Он не понимал, что делает, о чем думает, но вдруг сосредоточился на каком-то знаковом рубеже, на фатальном завершении цикла. И страдал в нетерпеливой решимости.

Циклоп ненавидел этот флирт между прицелом и мишенью. Он считал его занудством, бесконфликтным спором, нелепой драматической паузой. Он торопил смерть.

– Ну давай же... Давай! – почти крикнул он – и осекся.

Боря по-своему понял этот возглас и поспешно кинулся за очередной коробкой. На правой стороне стола между тем уже высилась внушительная стопка еще не разобранных документов, писем, журналов и книг. Работа двигалась медленно. Циклоп подолгу смотрел невидящим взглядом в какой-нибудь листок, вертел его в руках, а потом вдруг опять клал на прежнее место. Из нервного забытья его то и дело возвращал к действительности очередной вопрос:

– А это куда определить, Николай Давыдович? В «нужное»?

Циклоп моргал единственным глазом, шевелил губами и бормотал:

– В «нужное», Боря, в «нужное»... Впрочем, что это? Квитанция на дрова? Нет, ее – в «малозначительное»...

Он опять смотрел на часы, словно точно знал время трагедии, ждал его, а оно не спешило приходить.

– А вот смотрите... Рисунок. Акварель. Наверное, ребенок баловался.

– Какой ребенок? – спохватился Циклоп. – Покажи-ка... Да, похоже на детский рисунок.

В «малозначительное», Борис.

– Почему? – возразил мальчик. – А вдруг это неизвестная работа Малевича?

– Малевич не работал в стиле примитивизма, – быстро и невнятно ответил Циклоп.

«Что за бред я несу? Какой Малевич? Какой примитивизм? Как это все далеко от меня!

Да и не важно...»

– Смотрите, Николай Давыдович, цапки!

Боря открыл плоскую картонную коробку и рассыпал ее содержимое перед учителем. По столу запрыгали медные пуговицы, стеклянные шарики и почерневшие от времени наперстки. В коробке также оказались ножницы, пилка для ногтей, латунный подхват для пирожных, щипцы для колки сахара и сломанная брошь.

– В мусор все это, – махнул рукой Циклоп.

Боря прыскал со смеху:

– Тут еще есть!

Он открыл другую коробку, похожую на первую.

– Здесь ключи какие-то амбарные... Перья... Пенсне сломанное... Ух ты, портсигар!

– Это визитница, – поправил Циклоп, которого тоже на мгновение развлекли старые и ненужные находки. – В них хранили именные карточки с фамилией и титулом.

– Она пустая. – Боря щелкнул крышкой. – Ой, смотрите: чернильница! Совсем, как наша «неразливайка»!

Неожиданно мальчик перестал улыбаться и испуганно замолчал.

Циклоп даже вздрогнул от вдруг наступившей тишины. Морозный холод скатился от сердца вниз – к животу, остудил колени и ступни.

«Оказывается, не пустое, когда говорят, что душа в пятки ушла».

– Ты чего вдруг затих, Борис? Я даже испугался.

Боря разглядывал какую-то металлическую пластинку с зубчиками, похожую на миниатюрную пилу, и руки его дрожали.

– Я сам испугался, Николай Давыдович, – произнес он едва слышно. – Здесь очень странный рисунок.

Циклоп взял у мальчика пластинку и поднес к лицу так близко, словно намеревался ее понюхать. Помимо зубчиков, напоминающих акулы зубы, в этой штуковине не было ничего странного и тем более страшного. Пунктир мелких отверстий по всей длине и изящная гравировка в центре – длинная и тощая птица с распростертыми крыльями, похожая на аиста, в обрамлении лаврового или кипарисового венка.

– Ну и что здесь страшного? – нараспев произнес Николай Давыдович. – Это даже не герб, а так... фитюлька для красоты.

– А каково назначение этого предмета?

Циклоп задумался.

– Полагаю... – Он взял со стола конверт, провел пластинкой по перфорации и ловко вспорол его от края до края. – Аристократы!

Циклоп вернул Борису его находку, оказавшуюся ножичком для писем, и посмотрел на часы.

– Однако... «Уж полночь близится, а Германа все нет».

– Какого Германа?

– Это опять Пушкин, мой мальчик. Я хотел сказать...

– Николай Давыдович, – перебил его Боря, – а вам ничего не напоминает этот рисунок на пластинке?

Циклоп посмотрел на него как-то странно.

«Сейчас все это будет не важно. И рисунок, и пластинка, и бумаги, и даже Пушкин...»

– Ничего не напоминает. А что ты там разглядел?

Борис помедлил и вдруг выдохнул тревожным шепотом:

– *Крест в круге!*

Через полтора часа пришел Иннокентий Петрович. Он громыхал ключами, кашлял в предбаннике, скрипел половицами и негромко ругал ржавый замок. На пороге он задержался, поиграл тяжелой дверью, словно проверяя, сколько раз она еще сможет открыться и закрыться, пока не слетит с петель, и подозрительно обвел взглядом комнату, в которой оставил своих «подопечных». Здесь висела гнетущая тишина. В круге света, отбрасываемом лампой, за столом сгорбились две фигурки. Мальчик перелистывал страницы какого-то альбома и, как показалось Иннокентию Петровичу, с испугом посмотрел на вошедшего. Одноглазый учитель сидел не шевелясь, подперев кулаками тяжелый лоб, и даже не поднял головы, когда уполномоченный сотрудник появился на пороге.

Молодой человек кашлянул в кулак и преувеличенно бодро спросил:

– Ну? Как дела, золотари?

Мальчик улыбнулся:

– Все хорошо. За время вашего отсутствия происшествий не случилось.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.